
Элли
ЧЭНДЛЕР
Не трогай
МОИ ПИОНЫ,
или
ВРЕДНЫЙ НАСЛЕДНИК
16+

Элли Чэндлер

Не трогай мои пионы, или Вредный наследник

https://litres.ru/74761109

Аннотация

Нина Павловна медленно поворачивается к сыну. — Ты отдал ей эту комнату? — Она сама выбрала. — И ты позволил. — Там свет. Ей нужен подоконник. — Ей. Нужен. Подоконник. — Я могу переехать, — говорю. — Если это проблема. — Это не проблема. Это вопрос нескольких дней. Она смотрит на меня. Прямо. В упор. — Эта женщина не останется. Родион, ты меня слышишь? Она здесь не останется. Я жду. Жду, что он скажет хоть что-нибудь. Он молчит. Смотрит на пионы. Желвак ходит под гладко выбритой кожей. Молчит.

От автора:

❤# Старинная усадьба и оранжерея, которую нельзя продавать

❤# Героиня 38 лет после развода, которая больше не хочет быть удобной

❤# От «Вы здесь не задержитесь» до «Сад мне не нужен, если в нём нет тебя»

❤# ХЭ тому, кто заслужил!

Содержание

Глава 1. Пионы не отдают 4
Глава 2. Условия сделки 16
Глава 3. Сосед по наследству 29
Глава 4. Молчаливый сад 40
Глава 5. Ужин с инспекцией 51
Глава 6. Чужая ошибка 63
Глава 7. Дождь и парник 75
Глава 8. Тайна пруда 87
Глава 9. Не твоя территория 99
Глава 10. Договор дороже чувств 111
Глава 11. Ремонт по правилам 123
Глава 12. Покупатель с улыбкой 136
Глава 13. Слишком близко 147
Конец ознакомительного фрагмента. 150

Глава 1. Пионы не отдают

— Сюда нельзя. Частная территория.

Голос с той стороны ворот. Мужской, сухой, с хрипотцой.

Я ставлю ящик с инструментами на гравий. Ручка оставила на ладони красную полосу. За спиной два чемодана, такси уже развернулось и пылит обратно к трассе.

Отлично. Просто отлично.

— Мне можно, — говорю.

— Кто сказал?

— Договор сказал.

Он стоит по ту сторону кованых завитков. Высокий. Тёмные волосы, седина у висков. Рубашка в тонкую полоску, галстук. Девять утра, май, усадьба посреди тверских полей — и галстук.

Узел ровный, с ямочкой. Я таких мужчин знаю. Они сначала проверяют воротник, потом говорят тебе гадость.

— Вы из агентства? — спрашивает.

— Из какого агентства?

— Зоя Тихоновна просила помощницу по хозяйству. Я думал, пришлют к июню.

Взгляд ползёт по мне сверху вниз. Пучок на макушке, куртка с карманами, джинсы, кроссовки в засохшей глине. Задерживается на ящике.

— Полы будете мыть отвёрткой?

— Секатором, — отвечаю. — Полы мою только у себя дома. И то по праздникам.

Он щурится. Усталые глаза, серые. Под ними тени.

— Тогда кто вы?

— Владлена Аркадьевна Сомова. Ландшафтный архитектор. Приехала реставрировать оранжерею.

— Какую оранжерею?

— У вас их несколько?

Пауза. Он открывает калитку, выходит ко мне. Пахнет от него кофе и дорогим мылом. Я невысокая, ему приходится смотреть вниз. Мне — задирать подбородок. Бесит.

— У нас одна оранжерея, — говорит он медленно. — Ржавая коробка с битым стеклом. Её никто не реставрирует.

— Теперь реставрирует.

— По чьему распоряжению?

— Ильи Петровича Березина.

Вот тут лицо меняется. Совсем чуть-чуть. Уголок рта уходит вниз.

— Отец.

— Вы сын?

— Родион Ильич.

— Очень приятно, Родион Ильич.

— Сомневаюсь.

Ну, хоть честно.

Я расстёгиваю рюкзак, достаю папку. Пластиковый файл, внутри договор, двенадцать страниц, приложения со сметой.

Протягиваю.

Он не берёт сразу. Смотрит на мои пальцы. Под ногтями земля — с утра пересаживала в квартире рассаду, руки отмыть до конца так и не вышло.

Берёт двумя пальцами за уголок.

Листает. Быстро, цепко, юрист так листает или бухгалтер. Останавливается на последней странице.

— Подпись отца.

— Подлинная.

— Дата…

— Март. Шестого числа.

— Два месяца назад.

— Шестьдесят дней, если точно.

Он поднимает глаза.

— Вы считали?

— Я всё считаю. Профессиональное.

— И за шестьдесят дней никто не подумал сообщить мне.

— Это уже ваши семейные дела, Родион Ильич. Мои — вот, — киваю на файл. — Пункт четвёртый. Сроки работ. До двадцать седьмого июня.

Он возвращает папку. Аккуратно, ровно, уголок к уголку.

— Ждите здесь.

— Под воротами?

— Под воротами.

Разворачивается и уходит по аллее. Липы старые, кроны срослись над дорожкой, свет пробивается пятнами. Красиво.

Запущено до безобразия, но красиво.

Стою.

Ящик у ног. Чемоданы за спиной. Солнце печёт затылок.

Три года назад я бы развернулась и вызвала такси обратно. Три года назад мне сказали, что со мной слишком сложно, и я поверила.

Сейчас я сажусь на ящик.

Достаю блокнот. Записываю: «Ворота — коррозия петель, покраска. Липы — санитарная обрезка, сухостой 30%». Потом подумала и дописала: «Наследник — галстук. В мае».

— Владлена Аркадьевна?

Поднимаю голову.

По аллее спешит женщина. Лет шестьдесят, крепкая, в синем фартуке поверх кофты, седые волосы под косынкой. Вытирает руки о фартук на ходу.

— Вы Зоя Тихоновна?

— Я. Господи, а чего ж вы тут сидите? Заходите, заходите. Чемоданы оставьте, Родион Ильич принесёт.

— Родион Ильич велел ждать.

— Мало ли чего он велел.

Она поднимает один чемодан. Я хватаю второй и ящик. Калитка скрипит. Петли просят масла уже лет десять.

— Вы знали, что я приеду? — спрашиваю.

— Илья Петрович звонил. Велел флигель проветрить.

— А сыну не сказал.

Зоя Тихоновна вздыхает. Длинно, по-деревенски, с при-

чмокиванием.

— Илья Петрович много кому чего не говорит.

— Это проблема?

— Это семья, милая.

— А Родион Ильич давно здесь?

— Третий день. Приехал бумаги разбирать.

— Какие бумаги?

— Ой, мне откуда знать. Папки, папки. Ночью сидит, свет до двух горит.

— Один живёт?

Зоя Тихоновна косится на меня. Хитро, с прищуром.

— Это вы про что спрашиваете?

— Про хозяйство. Сколько человек кормить.

— А-а. Про хозяйство. — Она усмехается. — Один. Ест мало, спит мало, ругается много. Вы не пугайтесь, он не злой.

— Я не пугаюсь.

— Вижу. Он тоже видит, наверное. Потому и злится.

Аллея выводит к дому. Белый, двухэтажный, с колоннами, штукатурка облупилась на углах. Широкое крыльцо, шесть ступеней. По обе стороны крыльца — куртины.

Я останавливаюсь.

Пионы.

Старые кусты, крупные, разросшиеся. Из земли лезут красные побеги, толстые, скрученные, каждый с палец. Кто-то давно их не делил. Кто-то их и не трогал, судя по сорнякам.

Опускаю чемодан. Сажусь на корточки. Пальцы сами уходят в землю у края куртины.

Сухо. Корка сверху, под ней пыль. Мульчи нет. Подкормки нет. Лет пять, наверное.

— Травянистые, — говорю. — Молочноцветковые. Сорт старый, советский, скорее всего. Их бы разделить к августу, иначе…

— Отойдите от них.

Родион стоит на верхней ступени крыльца. Телефон в руке, экран ещё светится.

— Я просто смотрю.

— Вы трогаете.

— Я проверяю почву. Это разные глаголы.

— Встаньте.

Встаю. Отряхиваю колени. Земля сыплется на гравий.

Зоя Тихоновна вдруг очень занята чемоданом. Перекладывает его с руки на руку и не поднимает глаз.

— Вы дозвонились до отца? — спрашиваю.

— Он не берёт трубку.

— Бывает.

— С ним — постоянно.

Он спускается. Ступени поскрипывают под ногами, третья сверху проседает.

— Третью ступень надо менять, — говорю. — Доска гнилая.

— Вы и плотник?

— Я наблюдательная.

— Вас для этого наняли?

— Меня наняли восстановить оранжерею и сад к открытию. Ступени — бесплатный бонус.

— К какому открытию?

— Вы договор не дочитали?

Он молчит. Челюсть ходит.

Я снова открываю папку, нахожу приложение. Тычу пальцем.

— «Открытие сада для посещения». Двадцать седьмое июня.

— Это частная усадьба.

— Это вопрос к вашему отцу.

— Я задаю его вам.

— А я не ваш отец.

Зоя Тихоновна кашляет. Тихонько, в кулак.

— Покажите мне оранжерею, — прошу. — Я посмотрю, распакуюсь, а вы пока дозвонитесь Илье Петровичу. Вечером поговорим втроём.

— Втроём мы не поговорим.

— Почему?

— Потому что вечером вас здесь не будет.

Ну-ну.

— Оранжерея, Родион Ильич.

Он смотрит долго. Потом резко кивает за дом.

— Идёмте. Посмотрите. Сами всё поймёте.

Мы обходим дом. За ним парк — точнее, то, что когда-то было парком. Боскеты заросли, дорожки ушли под траву. Яблони, старые, в лишайнике, уже выпустили бутоны. Дальше блестит вода.

Пруд.

Он ускоряет шаг. Мимо пруда — почти бегом. Я замечаю, но молчу.

Оранжерея стоит в низине. Металлический каркас, высокий, с куполом. Половины стёкол нет. Оставшиеся мутные, в потёках. Дверь висит на одной петле.

Красиво.

Господи, как красиво.

У меня в горле что-то сжимается. Я видела фотографии, Илья Петрович присылал. Но фотографии врут, всегда врут, они плоские.

— Конец девятнадцатого века, — говорю тихо. — Клёпаный каркас. Это же редкость. Таких в области три штуки осталось.

— Это ржавчина.

— Это чугун.

— Это ржавый чугун.

Я тяну дверь. Петля визжит. Внутри пахнет сыростью, прелыми листьями. И ещё сладко, по-цветочному. Странно для мая.

Пол в плитке. Плитка треснула, через щели лезет крапива. Вдоль стен кадки, пустые, рассохшиеся. В глубине — стен-

ка из кирпича, в ней дверь, крашенная зелёным, с навесным замком.

— Что там? — киваю.

— Подсобка.

— Можно посмотреть?

— Нельзя.

Записываю в блокнот. «Подсобка — замок».

— Вы всё записываете? — Он стоит в дверях. Внутрь не заходит.

— Всё.

— Зачем?

— Чтобы потом никто не сказал, что я выдумала.

Он поднимает бровь.

— Кто-то говорил?

— Неважно.

Я обхожу каркас изнутри. Трогаю стойки. Стучу костяшкой — звук глухой, плотный, металл живой.

— Каркас держит, — говорю. — Ржавчина поверхностная. Зачистить, загрунтовать, покрасить. Остекление заменить. Отопление, судя по трубам, было водяное, систему придётся монтировать заново. Вентиляцию — фрамуги на месте, их только отремонтировать. Пол перебрать. Через восемь недель здесь будут цвести…

— Здесь ничего не будет цвести.

— Будут. Если не мешать.

— Владлена Аркадьевна.

— Лада. Просто Лада.

— Владлена Аркадьевна, — повторяет он нарочно. — Вы потратили время на дорогу. Я компенсирую. Билет, бензин, неустойку по договору. Назовите сумму.

— У меня нет суммы.

— У всех есть сумма.

— У меня есть ГОСТ двадцать восемь триста двадцать девять.

— Что?

— «Озеленение городов. Термины и определения». Там написано, что такое объект озеленения. Ваша оранжерея — объект. Я — исполнитель. Договор — основание. Всё остальное — эмоции.

Он смотрит на меня долго, неотрывно. Уголок рта дёргается — то ли злится, то ли смеётся.

— Вы всегда так разговариваете?

— Как?

— Цитатами из нормативов.

— Только с теми, кто мне не рад.

— Таких много?

— Хватает.

— И как они с вами справляются?

— Никак. Подписывают акт приёмки и платят по смете.

— А если не подписывают?

— Тогда я прихожу ещё раз. С фотографиями.

— Вы невыносимы.

— Мне говорили.

— Кто?

— Те, кому я была удобна. Пока не перестала.

Он молчит. Я тоже. Зря сказала, конечно. Это вообще не его дело.

Где-то под куполом возится птица. Ласточка, наверное, лепит гнездо на стыке рёбер. Сыплется сухая глина.

Он делает шаг внутрь. Плитка хрустит под его ботинком. Наклоняется, поднимает с пола засохший лист. Вертит в пальцах.

— Отец хочет здесь музей устроить, — говорит тихо. — Я знаю. Он второй год про это говорит.

— Хорошая идея.

— Плохая.

— Почему?

Он не отвечает. Растирает лист в труху. Отряхивает ладони.

— Распаковывайтесь, раз приехали. Зоя Тихоновна покажет флигель.

— Спасибо.

— Не благодарите.

Он выходит наружу. Солнце бьёт ему в спину, я вижу только силуэт — широкие плечи, ровная спина, руки в карманах.

Потом он оборачивается.

— Только не стоит раскладывать вещи по полкам.

— Почему?

— Вы здесь не задержитесь, Владлена Аркадьевна. Я продаю усадьбу.

Глава 2. Условия сделки

POV: Родион

— Продаёте? — переспрашивает она.

— Продаю.

— Кому?

— Это вас не касается.

— Касается. Мне здесь работать.

— Вам здесь не работать.

Она стоит посреди оранжереи, маленькая, рыжая, в куртке с десятком карманов. Из одного торчит карандаш. Веснушки на носу. Пучок съехал набок.

И смотрит так, словно это я заявился к ней в гости и наследил.

— Хорошо, — говорит. — Тогда я подожду, пока вы дозвонитесь отцу.

— Ждите.

— Только не под воротами.

— Где хотите.

Я ухожу. Спиной чувствую её взгляд — ровный, цепкий, оценивающий. Так смотрят на гнилую балку. Прикидывают, сколько выдержит.

Пруд справа. Не смотрю. Двадцать лет не смотрю, привычка.

На крыльце набираю отца. Гудки. Пятый, шестой, седь-

мой.

Сбрасываю. Набираю снова.

— Да, Родя.

Голос бодрый. Слишком бодрый. Так он разговаривал в детстве, когда разбивал машину и врал матери про гололёд.

— Ты знаешь, почему я звоню.

— Лада приехала? Добралась хорошо? Я ей такси заказывал от вокзала…

— Пап.

— Что?

— Ты нанял человека реставрировать оранжерею.

— Нанял.

— Два месяца назад.

— Шестого марта.

— И мне не сказал.

— Ты бы стал слушать?

Я сжимаю перила. Краска шелушится под пальцами, остаётся на ладони белыми хлопьями.

— Мы договорились, — говорю. — Ты подписал доверенность. Матвей Гордеев готов смотреть объект через три недели. Он даёт хорошую цену. Ты знаешь, какая у нас дыра по жилому комплексу.

— Знаю.

— Тогда зачем?

— Затем, что я ещё жив, Родион.

Тишина в трубке. Слышно, как у него в кабинете тикают

часы. Старые, с маятником, их мать подарила на тридцатилетие свадьбы.

— Доверенность я отзову, — говорит отец спокойно.

— Ты не сделаешь этого.

— Уже сделал. Вчера у нотариуса.

Я сажусь на ступеньку. Третья сверху. Она проседает подо мной — гнилая. Рыжая оказалась права, чёрт бы её побрал.

— Ты понимаешь, что творишь?

— Понимаю. Слушай меня внимательно. Усадьба моя. Подпись под договором купли-продажи будет моя. Я её поставлю. Обещаю.

— Когда?

— После открытия сада.

— Какого сада, пап?

— Двадцать седьмое июня. Лада откроет оранжерею, люди придут, посмотрят. Если после этого ты всё ещё захочешь продавать — продавай. Я слова не скажу.

— Это шантаж.

— Это условие.

— Это шантаж, оформленный как условие.

— Ты у меня юрист, тебе виднее.

Он смеётся. Тихо, по-стариковски, с присвистом. А я сижу на гнилой ступеньке в рубашке за двадцать тысяч и чувствую себя двенадцатилетним.

— Матвей не будет ждать два месяца.

— Подождёт. Если хочет «Белые Ключи» — подождёт.

— А мама?

Пауза. Длинная. Маятник тикает.

— С мамой я поговорю сам.

— Ты с ней не разговариваешь. Вы двадцать лет не разговариваете.

— Родя.

— Что?

— Помоги Ладе. Она хорошая. Она справится.

— Откуда ты её знаешь?

— Знаю.

И сбрасывает.

Я смотрю на экран. «Отец. 4 мин 12 сек». Перезванивать бесполезно. Он теперь до вечера не возьмёт — выключит телефон и уйдёт на рыбалку. Это у нас семейное. Сказать главное и сбежать.

Восемь недель.

Восемь недель в этом доме.

Я планировал провести здесь три дня. Подписать бумаги с оценщиком, показать Матвею границы участка, уехать. В городе квартира, офис, совещание в четверг.

Пишу заму: «Четверг переносим. Я на объекте до конца июня». Отправляю. Через секунду приходит ответ: «Родион Ильич, вы серьёзно?»

Не отвечаю.

— Чай будете?

Зоя Тихоновна стоит в дверях с подносом. На подносе две

кружки. Одна моя — белая, тонкая, с синей полосой. Вторая — чужая, пузатая, со смешным ёжиком.

— Это чья? — киваю на ёжика.

— Ладина. Она с собой привезла. Чай мятный, говорит, другого не пьёт.

— Уберите.

— Кружку?

— Обе.

— Родион Ильич, вы с утра ничего…

— Зоя Тихоновна.

Она вздыхает и уносит поднос. Ёжик подмигивает мне нарисованным глазом.

— Родион Ильич, — она оборачивается в дверях. — Обед в два. Я на троих накрою.

— На двоих.

— Так а Лада?

— Лада пообедает, когда захочет.

— А вы?

— Я тоже.

— Вы не сядете, пока все не сядут. Я вас тридцать лет знаю.

— Значит, накройте на одного. Мне.

— Ох и вредный вы, Родион Ильич. С малых лет вредный.

— Спасибо, Зоя Тихоновна.

— Это не похвала.

— Знаю.

Иду к флигелю.

Флигель стоит в стороне от главного дома, за кустами сирени. Двухэтажный, деревянный, с мансардой. Когда-то там жила прислуга, потом гости. Сейчас там живу я. В большом доме я не ночую.

Она во флигеле. Ходит по коридору второго этажа, открывает двери одну за другой. Заглядывает, морщит нос, закрывает.

— Эта сыроватая, — говорит, не оборачиваясь. — В этой окно на север, рассаду не поставишь. В этой…

— В этой живу я.

Она отдёргивает руку от двери. Поворачивается.

— Вы живёте во флигеле?

— Да.

— А дом?

— Дом закрыт.

— Почему?

— Потому что.

— Исчерпывающе.

Она проходит дальше по коридору. Последняя дверь — угловая комната. Два окна, одно в сад, второе на яблони. Узкая кровать, комод, стол у подоконника.

— Вот, — говорит. — Эта.

— Нет.

— Почему нет?

— Выберите другую.

— Мне нужен свет. Два окна, восток и юг. Я буду проращивать семена, мне нужен подоконник. Широкий. Здесь широкий.

— Владлена Аркадьевна.

— Вы опять.

— Что опять?

— Полным именем. Как учительница.

— Вы мне не подружка.

— Слава богу.

— Зоя Тихоновна говорит, вы с собой кружку привезли.

— Привезла.

— Зачем?

— Чтобы пить из своей. А что?

— Ничего. Просто я из чужих не пью.

— Я вам и не предлагала.

— Она предлагала.

— Значит, не берите. Ёжик обидится.

— Ёжик?

— На кружке ёжик. Вы видели.

— Видел.

— И как?

— Глупый.

— Мне его дарили на защиту диплома. Он со мной двадцать лет. Пережил три переезда, развод и прорыв трубы.

Я смотрю на неё. Она уже отвернулась, проводит ладонью по подоконнику, собирает пыль на пальцы, растирает. Гово-

рит про развод между делом, как про трубу.

Она заходит в комнату. Ставит рюкзак на кровать. Пружины скрипят.

Я стою в дверях. Внутрь не захожу. Не могу себя заставить.

Здесь двадцать лет никто не жил. Зоя Тихоновна моет пол раз в месяц, проветривает. Больше ничего.

— Я говорил с отцом, — говорю.

— И?

— Вы остаётесь до двадцать седьмого июня.

Она оборачивается. Ждёт подвоха. Правильно ждёт.

— Значит, продажа отменяется?

— Откладывается.

— А.

— Отец ставит условие. Сначала открытие сада. Потом сделка.

— И вы согласились?

— У меня нет выбора.

— У всех есть выбор, Родион Ильич.

— Вы цитируете ГОСТ?

— Я цитирую здравый смысл.

Она улыбается. Криво, одним уголком. На щеке появляется ямочка, и меня это злит. Непонятно почему, но злит.

— Тогда давайте договоримся, — говорю. — Раз мы под одной крышей.

— Давайте.

— Кухня общая. Ванная на этаже одна.

— Одна?

— Одна.

— Прекрасно.

— Ещё кухня.

— Что кухня?

— Холодильник. Верхняя полка моя.

— Почему верхняя?

— Потому что вы до неё не дотянетесь.

— Возьму табуретку.

— Не возьмёте. Это правило.

— Правила, Родион Ильич, работают в обе стороны. Нижний ящик мой. Там будет рассада.

— В холодильнике?

— Семена стратифицировать надо. Холодом.

— Господи.

— Он тут ни при чём.

— Я встаю в шесть.

— А я в половине седьмого.

— Значит, с шести до семи ванная моя.

— С шести до половины седьмого. Вы мужчина, бреетесь десять минут.

— Двадцать.

— Галстук завязываете в ванной?

— Это не ваше дело.

— Значит, в ванной.

Я молчу. Она записывает что-то в блокнот. Я вижу перевёрнутые буквы: «Г. — ванная 6:00–6:30».

— Что такое «Г»?

— Галстук.

— Вы меня так записали?

— Временно. Пока не заслужите имя.

— Владлена Аркадьевна…

— Дальше. Какие ещё правила?

Я делаю вдох.

— Главное правило.

— Слушаю.

— Пионы у крыльца не трогать.

Она поднимает голову. Карандаш замирает над бумагой.

— Совсем?

— Совсем.

— Их надо делить. Они загущены. Если не делить, они перестанут цвести. Через год-два выродятся.

— Пусть.

— Это старый сорт. Таких сейчас не купишь.

— Не трогать.

— Почему?

— Это не обсуждается.

— Всё обсуждается. Вы сами юрист, должны знать.

— Откуда вы знаете, что я юрист?

— Вы листали договор, как юрист. И галстук носите, как юрист.

— Как носят галстук юристы?

— На работе. И дома. И на рыбалке, наверное.

— Я не рыбачу.

— Видно.

Я подхожу ближе. На шаг. Порог комнаты остаётся за спиной, пол под ногами скрипит, и мне вдруг становится трудно дышать. Запах. Старое дерево, пыль, сухие травы. Знакомый запах.

Я его помню.

— Владлена Аркадьевна, — говорю тихо. — Вы можете делать с оранжереей что хотите. Можете вскопать весь парк. Можете посадить кактусы вместо яблонь. Мне всё равно. Через восемь недель я это продам. Но пионы у крыльца вы не тронете. Пальцем. Это ясно?

Она смотрит на меня снизу вверх. Долго. Глаза у неё зелёные, оказывается. С карими крапинками у зрачка.

— Ясно, — говорит.

— Хорошо.

— Только объясните.

— Нет.

— Тогда я запишу как «необоснованное требование заказчика».

— Записывайте.

— Записала.

Я отступаю обратно в коридор. Дышать становится легче.

— Ключи от оранжереи у Зои Тихоновны, — говорю. —

От подсобки ключей нет.

— Совсем нет?

— Потеряли.

— Давно?

— Давно.

Она кивает. Не верит, конечно. Я бы тоже не поверил.

Я ухожу к себе. Закрываю дверь. Снимаю галстук, вешаю на спинку стула. Сажусь на кровать.

Восемь недель.

Через стену слышно, как она распаковывается. Щёлкают замки чемодана. Что-то падает, она чертыхается. Скрипит ящик комода. Потом — шаги к окну. Открывается рама. Старая, тугая, давно не открывалась, я слышу, как она дёргает её, бормочет: «Ну давай же, зараза».

Рама поддаётся.

Тишина.

Долгая тишина. Слишком долгая.

Я встаю. Выхожу в коридор. Дверь её комнаты открыта.

Она стоит у окна. Спиной ко мне. В пальцах что-то держит. Тонкое, длинное, свисает почти до пола.

— Владлена Аркадьевна?

Она оборачивается.

В руке у неё лента. Атласная, выгоревшая, когда-то голубая. Края размахрились. На конце завязан узелок, детский, неумелый, двойной.

— Это было под рамой, — говорит она. — В щели. При-

жато. Чьё это?

Я смотрю на ленту.

Пол под ногами становится мягким. Я хватаюсь за дверной косяк и не помню, когда успел протянуть руку.

Глава 3. Сосед по наследству

— Шесть тридцать одна.

Стучу в дверь ванной. Костяшками, три раза, громко.

— Слышу, — отзывается Родион изнутри.

— Тогда выходите.

— Я бреюсь.

— Вы брились с шести.

— Я бреюсь тщательно.

— Вы там что, каждый волосок по имени называете?

За дверью шумит вода. Потом стихает.

Я стою в коридоре в пижамных штанах и растянутой футболке. Полотенце на плече, зубная щётка в кулаке. Волосы торчат во все стороны. Ночью почти не спала — старый дом скрипел, ухали совы в парке, а за стеной кто-то ходил. Туда-сюда. До трёх часов.

Он ходил.

Вчера он так и не ответил про ленту. Постоял в дверях, белый, с прилипшей к виску прядью. Сказал: «Положите, где взяли». И ушёл.

Я не положила.

Лента лежит у меня в блокноте, между страниц с замерами оранжереи. Сама не знаю зачем.

Дверь открывается.

Он выходит. Брюки, белая рубашка, рукава закатаны до

локтя. Галстук висит на шее развязанный. Пахнет пеной для бритья и хвоей. Подбородок гладкий, на скуле крошечный порез.

— Порезались, — говорю.

— Из-за вас.

— Я вас под руку не толкала.

— Вы стучали.

— Это называется соблюдение регламента.

Он смотрит на мою футболку. На ней выцветшая надпись: «Я копаю, следовательно, существую». Брови ползут вверх.

— Остроумно.

— Подарок.

— От кого?

— От бывшего мужа. На прощание.

Не знаю, зачем говорю. Вырывается само. Он замирает. Я протискиваюсь мимо него в ванную, плечом задеваю его руку. Твёрдая.

Захлопываю дверь.

Внутри тесно, влажно, зеркало запотело. На полочке его бритва, его одеколон, его зубная щётка в стакане. Всё стоит ровно, по линейке. Я сдвигаю его стакан на два сантиметра влево. Мелко. Подло. Приятно.

Ставлю свою щётку рядом.

— Владлена Аркадьевна, — доносится из-за двери.

— Что?

— Вы тронули мой стакан?

Я замираю с пастой в руке.

— Откуда вы знаете?

— Звук.

— Вы что, стоите под дверью?

Тишина.

Потом удаляющиеся шаги.

Стою, смотрю на себя в мутное зеркало. Щёки красные. Тридцать восемь лет, а щёки красные, как у пойманной на вранье школьницы.

Дура.

* * *

К одиннадцати я успеваю обойти парк, составить список сухостоя и вымазаться по колено в иле. Пруд обходила по дальнему краю — там старая скамейка, одна ножка подломилась, сидеть нельзя. Записала: «Скамейка у пруда — заменить».

В оранжерее снимаю замеры. Стекло, каркас, фрамуги. Зелёная дверь в кирпичной стене заперта. Замок навесной, старый, советский. Дужка ржавая, но целая.

Ключей нет. Потеряли. Давно.

Ну-ну.

Когда возвращаюсь к дому, у крыльца стоит машина. Серебристая, длинная, с тонированными стёклами. Водитель курит в сторонке.

На ступенях — женщина.

Высокая. Седые волосы уложены волной, светлый плащ,

перчатки. Перчатки в мае. Сумка через локоть. Спина прямая, доской.

Она смотрит на пионы.

Смотрит так, что мне хочется встать между ней и кустами.

— Здравствуйте, — говорю.

Она поворачивает голову. Медленно. Глаза серые, как у сына. Только холоднее.

— Вы кто?

— Владлена Сомова. Ландшафтный архитектор.

— Ах.

Одно слово. Одна буква, если честно. А по коже мурашки.

— Нина Павловна, — говорит она. — Мать Родиона.

— Очень приятно.

— Сомневаюсь.

Да они что, сговорились?

— Ваш сын вчера сказал то же самое.

— Мой сын воспитанный мальчик. Он редко говорит правду.

— А вы?

— Я давно перестала быть воспитанной. В шестьдесят восемь можно.

Она спускается на ступень ниже. Третью, гнилую — и обходит её, ставя ногу сбоку. Не глядя. Знает.

Оглядывает меня. Сапоги в иле. Джинсы с мокрыми коленями. Куртка. Руки. Особенно руки.

Я прячу ладони в карманы. Поздно.

— Это Илья вас нашёл?

— Илья Петрович.

— Где?

— На профессиональном сайте. Я вела реставрацию в двух усадьбах под Калугой. Есть рекомендации, портфолио…

— Мне неинтересно ваше портфолио.

— Тогда зачем спрашиваете?

Она приподнимает подбородок. Ещё на сантиметр.

— Хочу понять, сколько он вам платит.

— Это в договоре.

— Я не читаю чужих договоров.

— Тогда вам придётся спросить у Ильи Петровича.

— Мы с Ильёй Петровичем не обсуждаем деньги.

— А что вы обсуждаете?

Это вылетает само. Опять. Мой рот работает раньше головы, бывший муж говорил, это мой главный дефект.

Нина Павловна смотрит. Молчит. Потом улыбается — тонко, одними губами.

— Острая, — говорит. — Вы ему понравились, наверное. Илья любит острое. Потом мучается изжогой.

— Мама.

Родион выходит из-за угла дома. Быстро, широким шагом. Галстук завязан. Пиджак на плечах. Как он успел?

— Родя.

Она подставляет щёку. Он целует воздух у её щеки. Ровно,

аккуратно, по протоколу.

— Ты не предупредила.

— А ты не предупредил, что у нас живёт посторонняя женщина.

— Я сам узнал вчера.

— Это ты так говоришь.

— Мама, это правда.

— Значит, отец опять.

— Опять.

Они говорят быстро, коротко, перебрасывают фразы, мяч в пинг-понге. Я стою рядом. Меня здесь нет. Я пустое место с грязными коленями.

— Я пойду, — говорю.

— Стойте, — Нина Павловна поднимает руку в перчатке. — Вы где живёте?

— Во флигеле.

— В какой комнате?

Родион напрягается. Я вижу — плечи сходятся, шея каменеет.

— В угловой, — отвечаю. — С двумя окнами.

Тишина.

Где-то за домом стучит топор. Кукушка в парке начинает считать и сбивается на третьем «ку».

Нина Павловна медленно поворачивается к сыну.

— Ты отдал ей эту комнату?

— Она сама выбрала.

— И ты позволил.

— Мама…

— Ты позволил.

— Там свет. Ей нужен подоконник.

— Ей нужен подоконник, — повторяет она. Ровно. Одним тоном. Просто повторяет слова, как попугай, и от этого жутко. — Ей. Нужен. Подоконник.

Я переступаю с ноги на ногу. Ил на сапогах подсох и трескается.

— Я могу переехать, — говорю. — Если это проблема.

— Это не проблема, — отвечает Нина Павловна. Не мне. Сыну. — Это вопрос нескольких дней.

— Каких дней? — спрашиваю.

Она наконец смотрит на меня. Прямо. В упор.

— Эта женщина не останется, — говорит. Негромко. Спокойно. Как говорят о погоде. — Родион, ты меня слышишь? Она здесь не останется.

Я жду.

Жду, что он скажет хоть что-нибудь. «Мама, это решение отца». Или «У неё договор». Или хотя бы «Мама, не при ней».

Он молчит.

Смотрит куда-то мимо меня. На пионы. Желвак ходит под гладко выбритой кожей.

Молчит.

— Мама, — наконец выдыхает он. — Не здесь.

— А где? В той комнате?

— Мама.

Всё. Больше ни слова. Ни «у неё договор», ни «это решение отца». Только «не здесь».

— Я поняла, — говорю.

— Что вы поняли? — спрашивает Нина Павловна.

— Расклад.

Разворачиваюсь и ухожу. Иду ровно, медленно, считаю шаги. Двадцать два до угла дома. Спина горит.

За углом прислоняюсь к стене. Кирпич холодный. Дышу.

Унижение — оно всегда одинаковое. Горячее, липкое, с привкусом железа во рту. Я его знаю. Три года назад, в нашей кухне, когда он собирал вещи и говорил: «Ты вечно в своих грядках, Лада, мне нужна жена, а не прораб».

Я тогда тоже молчала.

Сейчас не буду.

Достаю блокнот. Пишу крупно: «Н. П. — против». Подчёркиваю дважды. Ниже: «Г. — промолчал». Подчёркиваю трижды. Карандаш ломается.

— Твою ж мать, — шепчу.

* * *

До обеда работаю в оранжерее. Злость — лучшее топливо. Выгребаю из кадок гнилую землю, сваливаю в тачку. Отвожу за компостную кучу. Возвращаюсь. Снова.

Руки гудят. Спина мокрая.

К часу дня Зоя Тихоновна приносит мне бутерброды в

фольге и термос.

— Мятный, — говорит. — Как вы любите.

— Спасибо.

— Вы бы поели в доме.

— В доме Нина Павловна.

— Так она к трём уедет.

— Тогда в три и поем.

— Ой, упрямая.

— Мне говорили.

— Родион Ильич тоже упрямый. Вы с ним намучаетесь.

— Он со мной тоже.

Зоя Тихоновна прыскает в ладонь. Потом оглядывается на дом, на тёмные окна, и лицо гаснет.

— Он вас не выгонит, — говорит.

— Мать попросит — выгонит.

— Не выгонит. Он матери не перечит, это правда. Только и просьбы её он не выполняет. Молчит, и всё. Двадцать лет так.

— Это как?

— А вот так. Вы видели. Стоит и молчит.

— Видела.

— Ну и вот.

Зоя Тихоновна мнётся. Перебирает край фартука.

— Вы на неё не сердитесь, — говорит тихо. — Ей тяжело тут.

— Почему?

— Тяжело, и всё.

— Зоя Тихоновна, — я откладываю лопатку. — Чья это комната? Угловая.

Она смотрит на меня. Долго. Губы поджаты.

— Ешьте, а то остынет, — говорит. И уходит.

Бутерброды не остывают. Бутерброды холодные изначально.

* * *

В три часа машина не уезжает.

В четыре — тоже.

В половине пятого я иду к флигелю за перчатками — свои порвала об кадку. Дорожка проходит под окнами большого дома. Окна первого этажа закрыты ставнями. Все, кроме одного. Веранда. Створка приоткрыта, кружевная занавеска шевелится на сквозняке.

Голоса.

Я не собираюсь подслушивать. Честно. Просто иду. Просто сапоги шуршат по гравию, и я останавливаюсь, чтобы не шуршать.

— …ты не понимаешь, — голос Нины Павловны. Тот же ровный, только теперь в нём трещина. Тонкая, едва слышная. — Он это специально. Он меня наказывает.

— Мама, никто тебя не наказывает.

— Привёз чужую бабу. Поселил её туда. Дал ей копаться в этой проклятой теплице.

— Это оранжерея.

— Мне всё равно, как это называется!

Звякает фарфор. Чашка о блюдце, слишком резко.

Я стою под окном. Не дышу. Перчатки забыты.

— Ты обещал мне, Родион. Ты обещал, что к осени мы закроем этот вопрос.

— Я помню.

— Тогда сделай что-нибудь.

— Что именно?

Пауза. Долгая. Занавеска колышется, я вижу край белой скатерти, вазу. Пустую.

— Убери садовницу, — говорит Нина Павловна. Совсем тихо. — Как хочешь. Мне всё равно, как. Но чтобы к выходным её здесь не было.

Я жду его ответа.

Сердце колотится в горле, в ушах, в кончиках пальцев.

— Лада? — Зоя Тихоновна кричит от флигеля. — Ладочка, вы перчатки искали? Я вам новые нашла!

Голоса за окном обрываются.

Створка веранды медленно и тихо закрывается изнутри.

Глава 4. Молчаливый сад

— Вот, — Зоя Тихоновна суёт мне в руки пару перчаток. — Кожаные. Ещё Илья Петрович покупал, ни разу не надеванные.

— Спасибо.

— Чего ж вы бледная такая?

— Устала.

Я натягиваю перчатку. Велика на два пальца. Мужская.

За спиной большой дом молчит. Створка веранды закрыта. Занавеска больше не шевелится.

— Зоя Тихоновна, — говорю тихо. — Они слышали, как вы меня позвали?

— Кто?

— Нина Павловна. Родион Ильич.

Она смотрит на окно веранды. Потом на меня. Долго, внимательно, по-учительски.

— А вам есть чего бояться?

— Нет.

— Ну и всё тогда.

— Я стояла под окном.

— Подслушивали?

— Шла мимо.

— Под окном шла мимо, — повторяет она и качает головой. — Ох, Лада. Вы тут недели не проживёте с таким язы-

ком.

— Нина Павловна хочет, чтобы я и двух дней не прожила.

Зоя Тихоновна вздыхает. Берёт меня под локоть, ведёт к флигелю. Хватка у неё крепкая, деревенская.

— Нина Павловна много чего хочет, — говорит. — Двадцать лет хочет. А дом стоит.

— Дом закрыт.

— Закрыт. А стоит.

— Это утешение?

— Это правда, милая. Утешения — это к батюшке.

— А Родион Ильич? Он что-нибудь сказал? Когда я ушла от крыльца?

— А вы как думаете?

— Думаю, промолчал.

— Вот вы и знаете.

— Он всегда так?

— С матерью — всегда. С отцом спорит. Со мной ругается. С Асей шутит. А с матерью стоит столбом.

— Ася — это кто?

— Сестра младшая. Приедет ещё, увидите. Хорошая девочка. Пугливая только.

— Сестра одна?

Зоя Тихоновна вдруг сбивается с шага. Совсем чуть-чуть, на полступни.

— Одна, — говорит. — Перчатки не потеряйте. Последние.

* * *

Ужинаю у себя. Хлеб, сыр, мятный чай из ёжика.

Машина Нины Павловны уезжает в семь. Я слышу, как хрустит гравий под колёсами. Потом тишина.

Потом шаги в коридоре флигеля.

Его шаги. Я их уже узнаю: ровные, тяжёлые, пятка-носок, у двери пауза.

Пауза у моей двери.

Я сижу на кровати с блокнотом на коленях. Карандаш в пальцах. Не дышу.

Постучит?

Скажет?

Тишина длится. Три секунды. Пять. Скрипит половица — он переносит вес с ноги на ногу.

Потом шаги уходят дальше. Хлопает его дверь.

Я выдыхаю. Пишу в блокноте: «Г. — у двери. 19:14. Ушёл».

Зачем пишу — не знаю.

* * *

Утром иду в оранжерею к семи. Родион в ванной, я слышу воду и не стучу. Умываюсь на кухне, из-под крана, холодной.

Туман лежит над парком низко, по колено. Яблони стоят в нём по пояс, ветки мокрые. Пруд не видно совсем — только белое пятно в низине.

Оранжерея выплывает из тумана. Каркас тёмный, мокрый, на рёбрах висят капли.

Зоя Тихоновна уже там. Сидит на перевёрнутом ведре у входа, чистит картошку в миску.

— Вы здесь картошку чистите? — удивляюсь.

— А где мне её чистить? На кухне Родион Ильич кофе варит, ворчит. Здесь тихо.

— Вы меня ждали.

— Ключ отдать.

Она протягивает ключ. Большой, с бородкой, на верёвочке.

— От входа, — говорит. — Входная дверь запирается. Запиралась, когда петли были.

— А от подсобки?

— Так нету.

— Совсем?

— Потеряли.

— Кто?

Нож замирает в её руке. Картофельная кожура висит длинной спиралью.

— Давно потеряли, — говорит она. — Не помню.

— Зоя Тихоновна, вы помните, сколько ложек сахара Родион Ильич кладёт в кофе. Вы помните, какая ступень на крыльце гнилая. Вы помните всё.

— Две ложки, — говорит она. — Сыплет. Горкой. Как маленький.

— Вот видите.

— А ключ не помню.

Захожу внутрь.

При утреннем свете оранжерея другая. Туман просачивается в дыры от выбитых стёкол, стелется по полу. Пахнет мокрым металлом и землёй.

Я обхожу её по периметру с рулеткой. Записываю. Каждую стойку, каждую фрамугу. Двенадцать стоек по длинной стороне, шесть по торцам. Купол — восемь рёбер. Стёкол целых — сорок три из ста восьмидесяти.

— Зоя Тихоновна, — зову. — А что здесь росло?

Она подходит к двери. Внутрь не заходит, как Родион. Стоит на пороге, миска у живота.

— Всякое росло.

— Конкретнее.

— Лимоны в кадках. Розы. Камелиибыли, белые, Илья Петрович из Сочи привозил.

— А ещё?

— Пионы.

— В оранжерее?

— Древовидные. В горшках. Их зимой здесь держали.

— Кто ухаживал?

— Садовник был. Пётр Кузьмич. Помер давно.

— А потом?

— А потом никто.

— Почему?

Она перекладывает миску из руки в руку.

— Вы, Лада, всё спрашиваете и спрашиваете. Мне кар-

тошку дочищать надо.

— Зоя Тихоновна.

— Ну чего?

— Когда здесь всё бросили?

Молчание.

Где-то в парке кричит сойка. Резко, противно.

— Давно, — говорит Зоя Тихоновна. — Давно бросили.

— Двадцать лет назад?

Она вскидывает глаза.

— Откуда вы…

— Нина Павловна вчера сказала «двадцать лет». Вы вчера сказали «двадцать лет». Родион Ильич ни разу не сказал. Зато мимо пруда ходит почти бегом.

— Не бегает он.

— Бегает. Я видела.

Зоя Тихоновна ставит миску на ведро. Вытирает руки о фартук. Медленно, тщательно, каждый палец.

— Вы пришли сад делать, — говорит она. — Вот и делайте сад.

— Я делаю.

— Вот и делайте. А про пруд не спрашивайте. И про комнату. И про подсобку.

— Почему?

— Потому что хорошая вы. Мне вас жалко будет.

Она разворачивается и уходит. Не за картошкой — миска остаётся на ведре. Просто уходит в туман. Косынка белеет и

пропадает.

Я стою посреди оранжереи с рулеткой.

Сорок три целых стекла из ста восьмидесяти.

* * *

Подсобка.

Я подхожу к зелёной двери. Краска облупилась, под ней видно старую, коричневую, ещё ниже — серую. Слои. Как годовые кольца.

Замок навесной. Дужка в рыжей коросте. Корпус потемнел. На нём выбито: «Завод им. Кирова. 1985».

Я трогаю замок пальцами. Он холодный и мокрый от тумана.

Можно срезать. У меня в ящике болторез, тридцать секунд работы. Даже меньше.

Договор. Пункт седьмой. «Исполнитель обязуется не производить работ на объектах, не согласованных Заказчиком».

Заказчик — Илья Петрович.

Подсобка в смете не значится.

Я отпускаю замок.

Достаю телефон. Пишу Илье Петровичу: «Добрый день. Подсобка в оранжерее заперта. В смете её нет. Включать в работы?»

Отправляю. Две серые галочки. Не прочитано.

Через минуту сверху приходит сообщение от оператора: «Абонент будет уведомлён о вашем сообщении».

— Да вы все тут сговорились, — бормочу.

— Ладно, — говорю двери. — Не сегодня.

Дверь, понятное дело, молчит.

* * *

К полудню туман уходит. Солнце бьёт в купол сквозь дыры, на плитке лежат световые пятна, дрожат.

Я сижу на корточках у кирпичной стены, рядом с подсобкой, с совком в руке. Выбираю из щелей между плитками старый мох. Механическая работа. Голова отдыхает.

— Владлена Аркадьевна.

Вздрагиваю. Совок звякает о плитку.

Родион стоит в дверях оранжереи. Галстук, рубашка, пиджак перекинут через руку. В другой руке — моя кружка. С ёжиком.

— Зоя Тихоновна просила передать, — говорит. — Чай.

— Вы несёте чужую кружку?

— Держу за ручку.

— Это считается.

— Не считается. Я из неё не пью.

Он ставит кружку на пол у порога. Внутрь не заходит. Выпрямляется.

— Вы вчера под окном стояли, — говорит.

Ну вот.

— Шла мимо.

— Под окном.

— Дорожка проходит под окном. Не я её прокладывала.

— Вы слышали.

Это не вопрос. Я встаю, отряхиваю колени. Стягиваю мужскую перчатку.

— Слышала, — говорю. — «Убери садовницу. Как хочешь».

Он молчит. Челюсть каменеет.

— И что вы ей ответили? — спрашиваю.

— Это не ваше дело.

— Меня просили убрать. Это моё дело.

— Я ответил матери то, что ответил.

— Исчерпывающе. Опять.

— Владлена Аркадьевна.

— Что?

Он смотрит на меня. Потом мимо меня. На зелёную дверь подсобки. Взгляд задерживается на замке, и лицо меняется — на долю секунды, едва уловимо. Уголки губ белеют.

— Вы трогали замок? — спрашивает он.

— Трогала.

— Зачем?

— Посмотреть.

— Там нечего смотреть.

— Тогда почему вы так на него смотрите?

Он отводит глаза. Резко.

— Я вас ни о чём не просил вчера, — говорит. Тихо. — И сегодня не прошу. Делайте свою работу.

— Это значит — я остаюсь?

— Это значит — делайте свою работу.

— А мама?

— Мама уехала.

— Вернётся?

— Мама всегда возвращается.

Он разворачивается. Шаг, второй. Останавливается, не оборачиваясь.

— И не ходите к пруду одна, — бросает через плечо. — Там берег обваливается.

— Я ходила утром.

Его спина каменеет.

— Не ходите, — повторяет. Глухо.

И уходит.

Я стою, смотрю ему вслед. Пиджак через руку. Шаг быстрый. Мимо пруда опять почти бегом.

Беру кружку с порога. Чай остыл. Мята горчит.

Ёжик смотрит на меня нарисованным глазом. Осуждающе.

— Сама знаю, — говорю ему.

* * *

Вечером, перед закатом, возвращаюсь в оранжерею за рулеткой. Забыла на подоконнике у стены.

Солнце садится низко, бьёт в стёкла сбоку. Свет рыжий, густой, ложится на кирпич. Длинные тени от каркаса тянутся через весь пол.

Рулетка лежит у зелёной двери. Наклоняюсь за ней.

И замечаю щель.

Дверь рассохлась. Между полотном и косяком, у самого пола, — зазор. Сантиметр, не больше. В него бьёт закатный луч. Насквозь.

Там, внутри, светло. Есть окно. Значит, подсобка с окном. Значит, туда кто-то когда-то заходил работать, сидеть, жить.

Я ложусь на плитку. Холодная, грязная. Плевать.

Прижимаюсь щекой к полу. Смотрю в щель одним глазом.

Пыль кружится в луче. Ножка стола, деревянная, точёная. Ковровая дорожка, свёрнутая в рулон. Банки на полу, стеклянные, пустые.

И лист бумаги.

Лежит на полу, у самой двери, прямо в полосе света. Пожелтевший, с загнутым углом.

Рисунок.

Цветной карандаш. Нажим сильный, детский, линии выходят за контур. Зелёные листья, неровные, похожие на пальцы. Красный стебель. И цветок.

Розовый. Пышный. Лепестки нарисованы спиралью, много-много раз, по кругу, карандаш продавил бумагу.

Пион.

Внизу, в углу, крупными печатными буквами, с перевёрнутой «Я»:

«ЭТО ДЛЯ МАМЫ».

Я лежу на холодной плитке и не могу пошевелиться.

За спиной, в дверях оранжереи, хрустит гравий.

Глава 5. Ужин с инспекцией

POV: Родион

— Вы что там делаете?

Она лежит на полу оранжереи. Щекой на плитке, у самой двери подсобки. Рыжий пучок распустился, волосы рассыпались по грязному полу.

Я на секунду перестаю дышать. Упала? Ударилась?

Потом вижу — глаз. Один глаз прижат к щели под дверью.

Подглядывает.

Она поднимается. Медленно, неуклюже, опираясь на ладони. На щеке отпечаток плитки, красный квадрат. Колени в пыли.

— Рулетку искала, — говорит.

— Под дверью?

— Укатилась.

— Рулетки не укатываются. Они плоские.

— Эта круглая.

Она показывает. Рулетка действительно круглая, в жёлтом корпусе. Мне хочется рассмеяться, и это бесит сильнее всего остального.

— Что вы там видели? — спрашиваю.

Она смотрит на меня. Долго. Зелёные глаза в закатном свете становятся почти жёлтыми.

— Пыль, — говорит она. — Банки. Ножку стола.

— И всё?

— А что там должно быть?

Я не отвечаю. Она тоже. Стоим друг напротив друга, между нами шесть метров битой плитки и двадцать лет.

Она врёт. Я вижу. У неё дёргается веко, левое.

Я тоже вру, когда говорю:

— Ничего. Там ничего не должно быть.

— Тогда дайте ключ.

— Ключа нет.

— Тогда разрешите срезать замок.

— Нет.

— Почему?

— Подсобки нет в смете.

Она прищуривается.

— Вы читали смету?

— Вчера. Всю ночь.

— Зачем?

— Чтобы знать, во что отец меня втянул.

— И как?

— Дорого, — говорю. — Дорого и бессмысленно.

— Посмотрим, — говорит она.

И проходит мимо меня к выходу. Плечом почти задевает. Пахнет землёй, мятой и тёплой кожей. Я не дышу, пока она не выходит.

* * *

Мать возвращается через неделю.

Предупреждает за час, сообщением: «Буду к семи. С Асей. Ужинаем вместе. Скажи Зое, пусть накроет в большом доме».

В большом доме.

Двадцать лет в большом доме не накрывали.

Я перечитываю сообщение трижды. Потом иду к Зое Тихоновне. Она на кухне флигеля режет укроп.

— Мама просит накрыть в доме, — говорю.

Нож замирает.

— В доме?

— В столовой.

— На сколько?

— Мама, Ася, я.

— А Лада?

— Мама пишет «ужинаем вместе».

Зоя Тихоновна откладывает нож. Вытирает руки.

— Это не про вас «вместе», Родион Ильич, — говорит. — Это про неё.

— Я знаю.

— И вы её позовёте?

— Мама её позовёт.

— А вы?

Я молчу. Зоя Тихоновна качает головой, берёт ключи с гвоздя. Связка тяжёлая, ржавая, звякает.

— Пойду ставни открывать, — говорит. — Пыли там, господи. Неделю мыть.

— У вас час.

— У меня всегда час, Родион Ильич. Тридцать лет у меня всегда час.

— Зоя Тихоновна.

— Ну?

— Ладе сами скажите. Про ужин.

— А вы чего ж?

— Она со мной со вчерашнего дня не разговаривает.

— Это вы с ней не разговариваете. Она-то к вам с вопросами. А вы — «исчерпывающе».

Я поднимаю бровь.

— Вы подслушиваете, Зоя Тихоновна?

— Я убираю, Родион Ильич. А вы громко разговариваете. Оба.

Она уходит со связкой ключей. На пороге оборачивается.

— И галстук смените. Этот вы третий день носите. Она заметит.

— Мне всё равно, что она заметит.

— Ага, — говорит Зоя Тихоновна. И закрывает дверь.

Я стою на кухне. Смотрю на галстук в отражении тёмного окна. Синий, в мелкую клетку. Третий день.

Через десять минут меняю на серый.

* * *

Ася приезжает первой. Выскакивает из такси, бросается мне на шею. Пахнет духами, сладкими, и немного валерьянкой.

— Родь! — шепчет. — Мама в машине за мной. Злющая. Что ты натворил?

— Ничего.

— Она всю дорогу молчала. Два часа.

— Это хорошо.

— Это ужасно. Она молчит, когда готовится. — Ася отстраняется, заглядывает мне в лицо. — Это из-за садовницы?

— Ландшафтного архитектора.

— Ой, какие мы точные.

— Она сама так говорит.

— Ты уже цитируешь её?

— Ася.

— Молчу, молчу. — Она поднимает ладони. — Какая она?

Я думаю. Рыжая. Упрямая. Лежит на полу у запертых дверей. Записывает время, когда я останавливаюсь у её комнаты. Да, я видел. Блокнот лежал раскрытым на кухонном столе.

— Невыносимая, — говорю.

Ася смотрит на меня. Глаза у неё расширяются.

— О господи, — шепчет она.

— Ася, нет.

— Я ничего не сказала.

— Ты подумала.

— Ты читаешь мысли теперь?

— Твои — двадцать лет.

— Родь, ты сказал про женщину «невыносимая». Ты так про Вику говорил? Про Олесю? Ты про них вообще ничего не говорил. «Нормальная». «Приятная». «Всё в порядке».

— Ася.

— Молчу. — Она берёт меня под руку. Пальцы холодные, дрожат. — Только маме не показывай. Пожалуйста. Она и так…

— Нечего показывать.

— Вот и хорошо, — говорит Ася. И не верит.

— Что?

— Ничего. Ничего, Родь.

* * *

Столовая в большом доме пахнет нафталином и полировкой. Зоя Тихоновна успела. Скатерть белая, хрусталь, серебро. Люстра горит вполнакала — половина лампочек сгорела.

Мать сидит во главе стола. Спина прямая. Перчатки сняты, лежат рядом с тарелкой.

Ася слева. Я справа. Напротив меня пустой стул.

Ждём.

Я не сажусь. Стою за своим стулом, держусь за спинку.

— Сядь, Родион, — говорит мать.

— Ещё не все.

— Она опоздает. Такие всегда опаздывают.

— Какие?

Мать не отвечает. Поправляет вилку. На миллиметр.

Дверь открывается.

Лада входит. Волосы вымыты, собраны в гладкий хвост. Платье — тёмно-зелёное, простое, по колено. Туфли на низком каблуке. На руках ни следа земли. Отмыла. Явно скребла щёткой, костяшки красные.

Я смотрю на неё. Слишком долго.

— Добрый вечер, — говорит она.

— Вы опоздали на четыре минуты, — говорит мать.

— Я считала, что ужин в семь.

— Ужин в семь.

— Сейчас семь ноль четыре. Вы правы.

Она садится напротив меня. Я сажусь следом. Последним. Мать замечает. Ася тоже. Лада — нет. Она смотрит на хрусталь.

— Это Ася, моя сестра, — говорю.

— Очень приятно, — Ася улыбается во все зубы. — Брат вас описывал.

— Как?

— Невыносимой.

Я пинаю Асю под столом. Она ойкает.

Лада переводит взгляд на меня. Поднимает бровь.

— Взаимно, Родион Ильич.

Зоя Тихоновна разносит суп. Грибной. Мать к супу не прикасается.

— Скажите, Владлена…

— Аркадьевна.

— Скажите, Владлена Аркадьевна, — мать произносит отчество так, словно пробует на вкус и находит кислым. — Вы замужем?

— Нет.

— Были?

— Мама, — говорю я.

— Я поддерживаю беседу, Родион.

— Была, — говорит Лада спокойно. — Развелась три года назад.

— Почему?

— Мама.

— Муж считал, что я слишком занята, — Лада берёт ложку. — Он был прав. Я была занята.

— Чем же?

— Работой.

— Садами.

— Садами.

— Чужими садами, — уточняет мать. — В чужих домах.

Пауза.

Ложка Лады замирает над тарелкой. Ася роняет салфетку. Зоя Тихоновна у буфета перестаёт звенеть половником.

— Да, Нина Павловна, — говорит Лада. Голос ровный, даже весёлый. — В чужих. Свой у меня шесть соток в Подмосковье, там всё давно сделано. Скучно.

— А в чужом весело?

— В чужом есть история.

— И вы любите чужие истории.

— Я люблю их восстанавливать.

— А если история не хочет, чтобы её восстанавливали?

Лада кладёт ложку. Смотрит на мать прямо, не моргая.

— Истории ничего не хотят, Нина Павловна. Хотят люди.

Тишина.

Ася смотрит на меня отчаянными глазами. Помоги, говорят глаза. Скажи что-нибудь. Ну хоть слово, Родь, одно-единственное.

Слово не находится. Ни одно. Они все застряли где-то под рёбрами, вместе с грибным супом.

Я ем суп.

— Какой вкусный суп, — громко говорит Ася. — Зоя Тихоновна, это белые? Белые же? Мам, помнишь, мы в детстве собирали белые за прудом…

Ася замирает с открытым ртом.

Мать медленно поворачивает к ней голову.

— Не помню, — говорит мать.

— Я… я перепутала, — лепечет Ася. — Это в Ольгино было. Точно, в Ольгино.

— В Ольгино, — повторяет мать.

Лада смотрит на Асю. Потом на мать. Потом на меня. Я чувствую её взгляд кожей, щекой, виском.

Ем суп.

* * *

Второе — утка с яблоками. Мать к утке не прикасается

тоже.

— Родион говорит, вы живёте в угловой комнате, — говорит она.

— Живу.

— Нравится?

— Там хороший свет.

— Свет, — повторяет мать. — А что вы делаете в этом свете?

— Работаю. Черчу. Семена на подоконнике прорастила.

— Какие семена?

— Душистый горошек. Настурции. Для оранжереи.

— Для оранжереи, — мать улыбается. Губами. — Родион, ты слышишь? Она сажает горошек. Собирается здесь жить, видимо.

— Я собираюсь здесь работать, — говорит Лада. — До двадцать седьмого июня.

— А потом?

— Потом открытие.

— Открытие чего?

— Сада.

Мать поворачивается ко мне.

— Ты ей не сказал?

— Что не сказал? — Лада переводит взгляд с неё на меня.

— Мама.

— Родион продаёт усадьбу, — говорит мать. — Покупатель приедет через две недели. Никакого открытия не будет.

Ваш договор, Владлена Аркадьевна, — это блажь упрямого старика. Он не хочет признать очевидное.

— Мама, отец отозвал доверенность.

— Отзовёт обратно.

— Он поставил условие.

— Условия ставят те, у кого есть силы их выполнить.

Лада смотрит на меня. Ждёт. Опять ждёт. Как неделю назад у крыльца.

— Родион Ильич, — говорит она тихо. — Покупатель приедет через две недели?

— Он приедет посмотреть.

— Посмотреть.

— Посмотреть.

— А потом?

— Потом будет потом.

Это не ответ. Я знаю. Она знает. Ася знает и опускает глаза в утку.

— Понятно, — говорит Лада.

Она складывает салфетку. Аккуратно, вчетверо. Кладёт рядом с тарелкой.

— Спасибо за ужин, — говорит. — Утка замечательная, Зоя Тихоновна.

— Сидите, — говорит мать.

Лада замирает, уже приподнявшись.

— Сидите, Владлена Аркадьевна. Я не закончила.

Лада опускается обратно. Медленно.

Мать берёт сумку, стоящую у ножки стула. Открывает. Достаёт конверт. Белый, плотный, толстый. Кладёт на скатерть. Пододвигает через стол. Двумя пальцами.

Конверт скользит по белому полотну и останавливается у тарелки Лады.

— Здесь пятьсот тысяч, — говорит мать. — Ваш гонорар за весь проект и ещё сверху. Завтра утром вы уезжаете. Договор с Ильёй я расторгну сама.

Ася тихо ахает.

Я смотрю на конверт. На руку Лады, лежащую рядом со скатертью. Пальцы сжимаются в кулак. Медленно. Костяшки, красные от щётки, белеют.

Она поднимает глаза.

Но смотрит не на мать.

На меня.

Глава 6. Чужая ошибка

Он молчит.

Конечно, молчит. Сидит напротив, в белой рубашке, с идеальным узлом галстука, и разглядывает утку у себя в тарелке. Утка, видимо, очень интересная.

Я перевожу взгляд на конверт. Белый. Толстый. Пятьсот тысяч.

Полгода моей работы. Ипотека за шесть соток, закрытая досрочно. Новая машина вместо старой «Нивы» с кашляющим мотором.

— Нина Павловна, — говорю. — Можно вопрос?

— Слушаю.

— Вы всегда носите с собой полмиллиона наличными?

Ася за столом издаёт звук. Короткий, сдавленный, похожий на икоту.

— Я готовлюсь к разговорам, — говорит Нина Павловна.

— Значит, готовились. Ко мне.

— К вам.

— Приятно.

Я беру конверт. Он тяжёлый. Плотный, увесистый. Взвешиваю на ладони.

Родион поднимает глаза. Наконец-то.

Я кладу конверт обратно. На середину стола. Между солонкой и вазой. Ровно, уголок к уголку, его манера, я под-

смотрела.

— Нет, — говорю.

— Вы не поняли сумму?

— Я поняла сумму. У меня с арифметикой хорошо, Нина Павловна. Я сметы считаю.

— Тогда в чём дело?

— В договоре. Пункт одиннадцатый. «Досрочное расторжение по инициативе Заказчика». Заказчик — Илья Петрович. Не вы.

— Я его жена.

— А я не ваш садовник.

Встаю. Стул скрипит по паркету.

— Спасибо за ужин, — говорю. — Утка правда замечательная. Зоя Тихоновна, вы волшебница.

Зоя Тихоновна у буфета стоит, прижав к груди половник. Глаза круглые. Мне кажется, она сейчас перекрестится.

Иду к двери. Ровно. Спина прямая. Двадцать один шаг. Каблуки стучат.

У двери оборачиваюсь.

Родион смотрит на меня. Прямо. Губы сжаты в нитку, а в глазах что-то такое, отчего у меня спотыкается сердце.

Злость?

Или уважение?

Разбираться некогда. Я выхожу.

* * *

Утром у меня пропадают секаторы.

Два. Мой «Фелко», швейцарский, красные ручки, подарок самой себе в день развода. И второй, старый, с деревянными ручками, из сарая за флигелем. Его мне вчера дала Зоя Тихоновна.

— Петра Кузьмича, — сказала тогда. — Берегите. Им ещё яблони Илья Петрович с ним стриг.

Я берегла. Положила вечером в ящик с инструментами, ящик оставила в оранжерее, у входа.

Утром ящик на месте. Секаторов нет. И ножовки нет. И садового ножа.

Я сижу на корточках над открытым ящиком. Перебираю. Отвёртки, рулетка, моток шпагата, перчатки. Перебираю снова.

Нет.

— Ищете что-то?

Родион стоит в дверях. Пиджак остался в доме. Рукава закатаны. На предплечьях тёмные волоски, жилы. Кофе в его белой кружке с синей полосой.

— Инструмент, — говорю.

— Какой?

— Секаторы. Ножовку. Нож.

— Где оставляли?

— Здесь.

— В открытой оранжерее, где нет двери?

— Дверь есть.

— На одной петле.

— Я её прикрыла.

— Прикрыли. — Он делает глоток кофе. — Владлена Аркадьевна, у вас в ящике бардак. Я видел вчера. Вы бросаете вещи где попало. На подоконниках, на полу, на ведре у входа. Рулетку под дверью ищете.

— Это не бардак. Это рабочее пространство.

— Это бардак.

— А вы откуда знаете, где я что оставляю? Вы следите за мной?

Пауза. Он ставит кружку на кадку.

— Секатор Петра Кузьмича был у вас? — спрашивает он. Голос меняется. Становится жёстче.

— У меня.

— Зоя Тихоновна дала?

— Дала.

— Вы знаете, что это за вещь?

— Секатор. Старый. Тридцатых годов, наверное. Сталь хорошая.

— Это отцовская память.

Он говорит «отцовская» и запинается. На полсекунды.

— Я понимаю.

— Не понимаете. Вы здесь неделю. Берёте чужие вещи, лезете в чужие комнаты, лежите на полу у чужих дверей. И теряете.

— Я не теряла.

— Тогда где он?

— Не знаю.

— Отлично.

— Родион Ильич…

— Отец спросит. Что я ему скажу? Что ландшафтный архитектор, нанятый за его деньги, разбрасывает по парку инструмент?

Во мне что-то закипает. Медленно, снизу, от желудка.

— Скажите ему правду, — говорю. — Скажите, что его сын с утра пьёт кофе и ищет виноватых. Вместо того чтобы искать секатор.

Он смотрит на меня.

Я смотрю на него.

Между нами битая плитка и запах кофе.

— Кто ещё заходил в оранжерею? — спрашивает он наконец. Тише.

— Никто.

— Зоя Тихоновна?

— Зоя Тихоновна сюда не заходит. Стоит на пороге. Как вы.

Он дёргается. Едва заметно.

— Ещё кто?

Я думаю. И вспоминаю.

— Фёдор.

— Какой Фёдор?

— Из деревни. Я вчера его наняла. Расчистить боскеты, вывезти сухостой. У него трактор и бензопила. Он приходил

в шесть вечера, пока я была на ужине… на вашем ужине. Я ему записку оставила, где пилить.

— Вы наняли человека? Не спросив меня?

— Смета Ильи Петровича. Пункт три-два. «Привлечение подрядчиков для расчистки». Мне надо было спросить у вас разрешения выполнить пункт сметы?

— Вы могли бы предупредить.

— Вы могли бы предупредить, что ваша мама приезжает с конвертом.

Молчание.

Он берёт телефон. Набирает кого-то.

— Зоя Тихоновна, номер Фёдора Лыкова есть? Того, с трактором. Да. Спасибо.

Набирает другой номер. Ждёт. Я слышу гудки. Потом хриплый мужской голос, громкий, деревенский, слышно даже мне.

— Алё!

— Фёдор, это Березин. Из «Белых Ключей».

— А, Родион Ильич! Здрасьте! Я вам вот звонить хотел, неудобно получилось…

— Секаторы.

— Ну! Ну так это ж я! Я ж вчерась пришёл, гляжу — ящик открытый, а там секатор старинный. Ржавый маленько. Ну, думаю, чего добру пропадать, заточу, мне на станке минута. И ножовку заодно, у ней зубья завалены. И ножик. Хотел утром вернуть, да трактор не завёлся, свеча, зараза…

Родион закрывает глаза.

— Вы взяли, не спросив.

— Так я ж для дела! Девушка записку оставила, мол, пилите, где отмечено, инструмент в ящике. Я и взял! В ящике же!

Я тихо достаю из кармана телефон. Открываю фотографию. Записка, сфотографированная перед уходом. Моим почерком, печатными буквами: «Фёдор! Пила — твоя. Инструмент из ящика НЕ БРАТЬ. Л.»

Поворачиваю экран к Родиону.

Он открывает глаза. Смотрит на экран. На «НЕ БРАТЬ», подчёркнутое трижды.

— Фёдор, — говорит в трубку. — Через час всё должно быть здесь.

— Да я мигом, Родион Ильич, я ж не со зла, я ж…

Родион сбрасывает. Убирает телефон в карман. Стоит, смотрит в пол.

Я жду.

Ласточка под куполом носится туда-сюда, носит глину.

— Читать он, видимо, не умеет, — говорю.

— Умеет. Внимательно не умеет.

— Как некоторые.

Он поднимает голову.

— Владлена Аркадьевна.

— Да?

Он молчит. Ищет слово. Я вижу, как он его ищет. Гу-

бы шевелятся, раскрываются и закрываются, желвак ходит. Ему больно произносить. Физически больно, я почти слышу скрип.

— Я ошибся, — говорит он наконец.

— Это всё?

— Это много.

— Это не извинение.

— Это моё извинение.

— Оно сухое, как ваши пионы у крыльца.

— Пионы не трогайте.

— Я и не трогаю. Я сравниваю.

Он берёт с кадки свою кружку. Допивает кофе одним глотком, холодный уже. Морщится.

— Ключи от сарая у Зои Тихоновны, — говорит. — Инструмент храните там. Под замком.

— Слушаюсь.

— И вчера…

Он замолкает.

— Что вчера? — спрашиваю.

— Конверт.

— Что конверт?

— Вы правильно сделали.

Я замираю. Моргаю.

Он уже уходит. Быстро, широким шагом, кружку держит за ручку, мимо пруда — почти бегом.

Стою с отвёрткой в руке. Отвёртку я, оказывается, достала

из ящика и сжимаю, как оружие.

«Вы правильно сделали».

Почему он не сказал этого вчера? За столом? Матери?

Записываю в блокнот: «Г. — "я ошибся". 8:47. Почти извинение». Подумав, дописываю: «Конверт — одобрил. Потом. Наедине. Трус».

Подчёркиваю «трус». Потом зачёркиваю. Потом обвожу.

* * *

Фёдор приезжает через полтора часа. Красный, виноватый, с секаторами, завёрнутыми в промасленную газету. Секатор Петра Кузьмича теперь блестит, как новый, лезвие острое, режет бумагу на весу.

— Вы уж простите, — бормочет Фёдор, мнёт кепку. — Я не со зла.

— Знаю. Пилите по меткам.

— А Родион Ильич сильно ругался?

— Почти извинился.

— Чего?

— Ничего, Фёдор. Пилите.

* * *

Вечером, в начале десятого, звонит телефон.

Номер незнакомый. Городской код.

— Слушаю.

— Лада? Ладушка? Это Илья Петрович.

Голос мягкий, старческий, с присвистом. Я его помню по телефонным разговорам в марте — тогда он долго объяснял

мне про оранжерею, про чугун, про камелии из Сочи.

— Илья Петрович. Добрый вечер.

— Добрый, добрый. Как вы там? Обжились?

— Обживаюсь.

— Нина приезжала?

Я молчу секунду.

— Приезжала.

— С конвертом?

Я сажусь на кровать. Пружины скрипят.

— Вы знали?

— Я сорок пять лет женат на этой женщине, Ладушка. Я знаю, что у неё в сумке, раньше неё самой. — Он вздыхает. — Вы взяли?

— Нет.

— Я так и думал.

— Почему вы не предупредили сына, Илья Петрович? Обо мне?

— Предупредил бы — он бы вас не пустил.

— Он и так не пускал.

— Но вы вошли.

— Вошла.

— Вот и хорошо. — Пауза. На том конце что-то тикает. Часы, наверное. — Лада.

— Да?

— Он не злой. Он испуганный. Это разные вещи.

— Мне сложно различить.

— Научитесь. — Он кашляет. — Не сдавайтесь, Ладушка. Слышите? Что бы они там ни говорили. Мать, сын. Не сдавайтесь. Мне больше некого просить.

— Почему я? — спрашиваю. — Почему именно я, Илья Петрович? Есть фирмы, есть бюро. Почему вы нашли меня?

Тишина в трубке. Длинная. Тикают часы.

— Вы правда не помните? — спрашивает он тихо.

— Что не помню?

— Две тысячи десятый год. Выставка в Сокольниках. Вы показывали студенческий проект. Сад для детской больницы. Там были пионы.

Я открываю рот. И закрываю.

Сокольники. Павильон, холодный, апрельский. Мой планшет на подрамнике, ватман, акварель. Пожилой мужчина в сером пальто долго стоял у стенда. Спрашивал про сорта. Сфотографировался со мной на память, сказал, у него дома тоже есть пионы. Старые. Их никто не трогает.

Я не запомнила лица.

Пальто запомнила. И то, как у него дрожали руки, когда он показывал на розовый цветок, нарисованный спиралью.

— Илья Петрович, — шепчу. — Это были вы?

— Шестнадцать лет я вас помнил, Ладушка, — говорит он. — А нашёл в марте. Случайно, в интернете.

В трубке щёлкает.

Гудки.

Я сижу на кровати в угловой комнате и смотрю на под-

оконник. Там, в пластиковых стаканчиках, проклюнулся мой душистый горошек.

За стеной, в соседней комнате, перестают ходить шаги.

Он слышал.

Глава 7. Дождь и парник

— Сокольники, — говорит он через дверь.

Я вздрагиваю. Телефон выскальзывает из пальцев на одеяло.

Он стучит. Один раз. Негромко.

— Владлена Аркадьевна. Вы не спите.

— Сплю.

— Свет горит. Под дверью видно.

Я встаю. Открываю. Он стоит в коридоре в серой футболке и домашних брюках. Галстука нет. Волосы влажные, растрёпанные. Я его таким ни разу не видела, и мне хочется закрыть дверь обратно. Слишком… живой.

— Стены тонкие, — говорит.

— Я заметила.

— Отец сказал «Сокольники».

— Сказал.

— Он знал вас раньше.

— Я не помнила. Честно. Шестнадцать лет назад, студенческая выставка. Пожилой мужчина в сером пальто. Сфотографировался со мной.

— И всё?

— И всё.

— Он ни разу не рассказывал.

— Вам он вообще мало рассказывает, я поняла.

Он трёт переносицу. Пальцы у него длинные, на костяшке свежая ссадина. Об косяк, наверное. Ходил ночами.

— Что был за проект? — спрашивает он.

— Сад для детской больницы.

— С пионами.

— Вы тоже слышали.

— Тонкие стены.

— Он вам что-нибудь говорил? — спрашиваю. — Про меня? Тогда, в марте?

— Сказал: «Нашёл человека». И всё.

— «Нашёл человека».

— Я решил, он про оценщика.

— А вы спросили?

— Нет.

— Почему?

— Мы с отцом мало спрашиваем друг друга. Он говорит, я делаю вид, что не слышу. Так проще.

— Кому проще?

Он не отвечает. Смотрит на свои руки.

Мы стоим. Между нами порог угловой комнаты. Он через порог не переступает. Я замечаю это уже в третий раз.

— Родион Ильич, — говорю. — Почему вы сюда никогда не заходите?

Он смотрит на подоконник. На мой горошек в стаканчиках.

— Спокойной ночи, Владлена Аркадьевна.

— Это не ответ.

— Это пожелание.

И уходит.

* * *

Утром он ждёт меня на кухне флигеля.

Сидит за столом в галстуке. Перед ним две тарелки. Омлет. Хлеб. Его белая кружка. Пустое место напротив.

Он не ест.

— Доброе утро, — говорю.

— Доброе.

— Вы ждёте Зою Тихоновну?

— Зоя Тихоновна уехала в райцентр. За стеклорезом.

— Тогда кого?

Он смотрит на пустой стул.

Я сажусь. Медленно. Он берёт вилку. Только теперь.

— Вы не едите, пока все не сядут, — говорю.

— Не ем.

— Даже если «все» — это я?

— Даже если.

— Почему?

— Мама так приучила. В детстве за стол садились вместе. Кто начинал раньше — уходил голодным.

— Строго.

— Справедливо.

— А если человек опаздывает?

— Ждём.

— Сколько?

— Сколько надо.

Я ковыряю омлет. Он вкусный, с зеленью. Сам готовил? Кружку мою он не трогает — ёжик стоит на краю стола, налитый мятным чаем. Налитый. Его рукой.

— Вы налили мне чай, — говорю.

— Налил.

— В мою кружку.

— Я держал чайник. Кружку я не трогал.

— Конечно.

— Конечно, — повторяет он и прячет улыбку в хлеб.

* * *

Через неделю привозят стекло.

Сорок листов. Грузовик с длинным прицепом, двое рабочих в оранжевых жилетах, ящики с соломой. Я командую разгрузкой полдня, охрипла.

К вечеру вставлено двенадцать стёкол. Южный скат купола блестит, остальное зияет дырами. Я переношу в оранжерею рассаду — горошек, настурции, десяток кустиков лаванды, отводки камелии от соседки в Калуге.

Небо темнеет к семи. Быстро, разом. Над прудом встаёт стена. Сизая, тяжёлая, с белым подбрюшьем.

— Будет гроза, — говорит Зоя Тихоновна, выглядывая из флигеля. — Ой, будет.

— Фрамуги открыты.

— Так закройте.

— Их двадцать четыре.

— Так бегите!

— А Родион Ильич где?

— У себя. Отчёты считает.

— Позовите его.

— Сами позовите.

— Мне некогда!

— Вот и мне некогда, — Зоя Тихоновна захлопывает окно.

Я бегу.

* * *

Первые капли бьют по стеклу, как горох. Крупные, тяжёлые, звонкие.

Я внутри. Тяну верёвку северной фрамуги. Заело. Тяну двумя руками. Ржавый блок скрипит, фрамуга опускается на два сантиметра и встаёт.

— Зараза!

Ветер врывается в оранжерею. Срывает со стола мой чертёж, уносит в угол. Гремит где-то над прудом.

Вторая фрамуга. Третья. Руки скользят по мокрой верёвке.

— Помочь?

Родион в дверях. Мокрый уже насквозь. Рубашка прилипла к плечам, белая ткань стала прозрачной на груди. Волосы ко лбу.

— Северные! — кричу. — Не опускаются! Заело!

Он проходит внутрь. Порог он, видимо, не замечает. Хватается за верёвку над моими руками. Тянет. Мышцы на предплечьях напрягаются, жилы встают.

Фрамуга опускается с визгом. Хлопает.

— Следующая, — говорит он.

Мы идём вдоль стены. Он тянет, я придерживаю раму, щёлкаю защёлкой. Седьмая. Восьмая. Ливень уже стеной, грохочет по стеклу так, что не слышно собственного голоса.

— Рассада! — кричу. — На южном столе!

— Какая рассада?

— Горошек! Лаванда! Камелии!

Через дыры в куполе хлещет вода. Прямо на стол, прямо на мои стаканчики. Земля пузырится, лаванда ложится.

Он стаскивает с себя рубашку. Одним движением, через голову, пуговицы не расстёгивает. Накрывает стол. Ткань тут же темнеет от воды.

Я смотрю на его спину.

Широкая. Мокрая. На лопатке старый шрам, белый, тонкий, полукругом.

— Не стойте! — рычит он. — Ящики давайте!

— Вы замёрзнете!

— Я сорок два года не мёрзну!

— Это не аргумент!

— Это факт! Ящики, Владлена Аркадьевна!

Хватаю пустой ящик из-под стекла. Он хватает второй. Сгребаем стаканчики, переставляем к кирпичной стене, под

уцелевший кусок кровли. Мои пальцы касаются его пальцев. Его ладонь накрывает мою на секунду — придерживает ящик.

Горячая.

Мы стоим у стены. Плечом к плечу. Под ногами вода, по щиколотку. Над головой ревёт.

Вспышка.

Белая, яркая, на всё небо. Гром — следом, в ту же секунду. Дом вздрагивает. Стекло в каркасе звенит.

Я дёргаюсь. Он ловит меня за локоть.

— Всё, — говорит. — Всё. Здесь безопасно. Каркас заземлён.

— Откуда вы знаете?

— Читал смету.

— Всю ночь?

— Всю ночь.

— И что там ещё было? В смете?

— Цены на стекло завышены на двенадцать процентов.

— Неправда.

— Правда. Я позвонил в Тверь. Есть поставщик дешевле.

— Вы звонили поставщикам? Для оранжереи? Вы же с ней воюете.

— Я не люблю переплачивать.

— Вы любите контролировать.

— Это одно и то же.

— Это совсем разное.

Я смеюсь. Нервно, мокро, с икотой. Он смотрит на меня. Капли текут по его лицу, по шее, по ключицам. Он их не вытирает.

Его рука всё ещё на моём локте.

— Вы дрожите, — говорит он.

— Холодно.

— Вы врёте.

— Откуда вы знаете?

— У вас дёргается веко. Левое. Когда врёте.

Я замираю.

Он заметил. Тогда, у подсобки. Он заметил и ничего не сказал.

— А вы, — говорю, — когда врёте, трёте переносицу.

Он опускает руку. Медленно.

— Не тру.

— Трёте. Вот сейчас хотели.

Он смотрит на свои пальцы. Потом на меня. И что-то в лице ломается. Уголки губ ползут вверх. Он улыбается. Мокрый, полуголый, злой, он улыбается мне посреди затопленной оранжереи, и у меня под рёбрами переворачивается всё. Разом.

— Невыносимая, — говорит тихо.

— Вы повторяетесь, Родион Ильич.

— У меня скудный словарный запас. Юридический. Вам подойдёт «неустранимый дефект»?

— Мне подойдёт «Лада».

— Мне Ася передала. Спасибо.

— Ася болтушка.

— Ася хорошая.

— Ася хорошая, — соглашается он.

— А вы?

— Что я?

— Вы хороший?

Он молчит. Вода льёт сквозь дыру в куполе прямо между нами, тонкой струёй, звонко.

— Я галстук, — говорит. — Вы сами записали.

— Вы видели блокнот.

— Он лежал на кухне. Открытый. «Г. — у двери. 19:14. Ушёл».

Щёки вспыхивают. Даже в холодной воде, даже мокрые.

— Это рабочие записи.

— Рабочие.

— Наблюдения за объектом.

— Я объект?

— Вы… — я сбиваюсь. — Вы часть объекта. Наследник при усадьбе. Как липы. Как пруд.

Он вздрагивает на слове «пруд». Совсем чуть-чуть.

— Как липы, — говорит он. — Двести лет и сухостой тридцать процентов.

— Вы и это прочитали.

— Я всё прочитал. Я читаю всё, Лада, что лежит открытым.

Он делает шаг. Ко мне. Ещё ближе, хотя ближе некуда. Вода плещет под ногами. Я спиной упираюсь в кирпич. Холодный, шершавый, мокрый.

Его ладонь ложится на стену рядом с моей головой.

Пахнет дождём. Мокрой землёй. Им. Мыло, хвоя и что-то тёплое, глубокое, от кожи.

— Лада, — говорит он.

По имени.

Коротко. Хрипло.

У меня подкашиваются колени. Серьёзно, физически, я чувствую, как они становятся ватными, и прижимаюсь к стене сильнее.

— Вы сказали «Лада».

— Сказал.

— Вы заслужили имя.

— Какое?

— Родион.

— Просто Родион?

— Пока да.

— А потом?

— А потом посмотрим. Как Илья Петрович говорит.

Он наклоняется. Я вижу капли на его ресницах. Они у него длинные, тёмные, слипшиеся от воды. Вижу порез на скуле — тот, от бритья, почти заживший.

Его дыхание касается моих губ. Тёплое.

Я закрываю глаза.

Жду.

Сердце долбит в горле, в висках, в пальцах. Где-то внизу живота стягивается узел, тугой, горячий. Я про такой забыла лет пять назад.

Вспышка. Сквозь веки — белое.

Я открываю глаза.

Он смотрит не на меня.

Мимо. За моё плечо, сквозь новое, только что вставленное стекло южной стены. Там, в мутных потоках воды, в мигающем свете молний, лежит пруд. Вода в нём кипит от ливня. Чёрная, тяжёлая.

Его лицо меняется.

Я вижу это близко, в двадцати сантиметрах. Краска уходит. Губы белеют. Зрачки расширяются так, что серого почти не остаётся.

Ладонь на стене сжимается в кулак. Кирпичная крошка сыплется мне на плечо.

— Родион?

Он отшатывается. Резко. Спиной врезается в стол, стаканчик с горошком падает, разбивается земля.

— Что случилось? — шепчу.

Он не отвечает. Смотрит на пруд. Дышит тяжело, рывками, как после бега.

— Родион. Посмотрите на меня.

Он моргает. Медленно переводит взгляд. На меня. И я вижу в его глазах такое, отчего мне хочется взять его за руку и

увести отсюда. Куда угодно. Подальше от воды.

Я протягиваю руку.

Он отступает ещё на шаг.

— Не надо, — говорит. Голос чужой, сорванный. — Я не тот, кем вам кажусь.

Глава 8. Тайна пруда

POV: Родион

Я выхожу под ливень.

Вода бьёт по голым плечам, по спине, по лицу. Холодная. Хорошо. Пусть.

— Родион!

Она кричит из оранжереи. Не оборачиваюсь.

Ноги несут сами. По мокрой траве, по скользкой глине, вниз. Туда, куда я двадцать лет не хожу.

Останавливаюсь в десяти шагах от берега.

Дальше не могу.

Пруд кипит. Ливень вспарывает чёрную воду, пена у кромки, камыш лёг. Скамейка на берегу — та, со сломанной ножкой — завалилась набок.

Скамейку я помню целой.

Я помню всё целым.

— Родион, вы с ума сошли? Тут молнии!

Она рядом. Мокрая, волосы облепили лицо, футболка прилипла. Хватает меня за руку. Пальцы ледяные.

— Идите в дом, — говорю.

— Только с вами.

— Лада. Идите в дом.

— Нет.

— Это не просьба.

— А я не подчинённая.

Гром. Она вздрагивает, но руку не отпускает. Тянет. Сильная, оказывается. Маленькая и сильная.

Я поддаюсь.

Мы идём к флигелю. Она впереди, я следом. Она ни разу не оборачивается. Держит мою руку, тащит, как ребёнка.

На крыльце флигеля отпускает.

— Полотенце, — говорит. — И чай. Горячий. Я принесу.

— Не надо.

— Надо.

— Из моей кружки.

Она смотрит на меня. Вода капает с её подбородка.

— Из вашей, — соглашается. — Конечно, из вашей.

* * *

Чай я не пью.

Сижу в своей комнате, на кровати, в сухой футболке. Кружка стоит на тумбочке. Белая, с синей полосой. Остывает.

За стеной тишина. Она не ходит. Не скрипит половицами. Ждёт, наверное.

Я тоже жду. Чего — не знаю.

В три ночи дождь стихает.

В шесть я встаю, бреюсь, завязываю галстук. Узел выходит кривой. Перевязываю. Опять кривой.

Бросаю галстук на стул.

Выхожу в рубашке, расстёгнутой на одну пуговицу.

* * *

Утро мокрое, яркое. Солнце бьёт в каждую каплю на траве. Над прудом поднимается пар.

Я иду к воде.

Сам. Ногами. Медленно.

Десять шагов от берега. Девять. Восемь.

На восьми останавливаюсь.

Скамейка лежит на боку. Ливень подмыл берег, от кромки отвалился пласт глины. Обнажились корни ивы. Чёрные, скрюченные.

Двадцать лет назад здесь был мостик. Деревянный, с перилами. Отец разобрал его через неделю после. Сам, топором, ночью. Я слышал из окна, как он рубит.

— Можно?

Она подходит сзади. Тихо. По траве.

В руке у неё кружка. Ёжик.

— Чай, — говорит. — Мой. Вам не предлагаю.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Она встаёт рядом. Не близко. Шаг между нами. Смотрит на воду.

— Красиво, — говорит.

— Да.

— Ива старая. Лет сто, наверное. Берег надо укрепить, иначе её подмоет.

— Укрепите.

— Укреплю.

— Габионами?

Она поворачивает голову. Удивлённо.

— Вы знаете, что такое габионы?

— Я девелопер, Лада. Я знаю, что такое габионы, сваи, дренаж и сметная стоимость кубометра бетона.

— Габионы здесь не подойдут. Слишком грубо. Фашины. Ивовые. Из этой же ивы нарезать, вбить колья, оплести. Через год прорастут, корни свяжут берег.

— Из этой же ивы.

— Из этой.

— Она лечит сама себя.

— Если ей помочь.

Я смотрю на иву. На её чёрные корни над водой. На свисающие плети, зелёные, мокрые, касающиеся поверхности.

Двадцать лет назад под ней стоял мостик. Двадцать лет назад на этих плетях висели качели.

— Делайте, — говорю.

Пар поднимается над водой. Где-то в камышах крякает утка.

— Родион, — говорит она. — Что здесь случилось?

Я знал, что спросит. Ждал. Всю ночь ждал. Готовил ответ.

— Несчастный случай, — говорю.

— С кем?

— Давно.

— С кем, Родион?

— Двадцать лет назад.

— Вы не отвечаете.

— Я ответил. Несчастный случай.

Она поворачивается ко мне. Смотрит снизу вверх. Глаза зелёные, с карими крапинками. Терпеливые, тяжёлые. Внимательные.

— Вчера, — говорит она. — В оранжерее. Вы смотрели на пруд.

— Смотрел.

— И перестали дышать.

— Мне показалось.

— Вам не показалось. Мне не показалось.

— Лада.

— Я не прошу рассказать. Я спрашиваю, нужна ли помощь.

— Мне?

— Вам.

Я смеюсь. Коротко, сухо. Смех выходит лающий.

— Мне сорок два года, Лада. Мне не нужна помощь.

— Всем нужна. Мне тридцать восемь. Мне вчера была нужна. Вы помогли с фрамугами.

— Это другое.

— Это то же самое. Фрамуги заело. У вас тоже что-то заело.

Я смотрю на неё. На мокрые волосы, собранные в пучок. На веснушки. На кружку с ёжиком в её ладонях.

Хочется сказать.

Хочется так сильно, что сводит челюсть.

— Пруд старый, — говорю. — Дно илистое. Купаться здесь нельзя. И ходить по берегу одной не надо. Это всё.

— Это всё?

— Всё.

Я разворачиваюсь. Ухожу. Восемь шагов. Девять. Десять. Дальше — легче. Дальше трава суше и дорожка видна.

— Родион, — зовёт она в спину.

Останавливаюсь. Не оборачиваюсь.

— Вчера, — говорит она тихо. — Вы не договорили. «Я не тот, кем вам кажусь». А кем я вас вижу?

Я молчу.

— Вы даже не знаете, — говорит она. — Вы не спросили.

Иду дальше.

* * *

На кухне флигеля Зоя Тихоновна моет посуду. Громко. Тарелки звенят.

— Вы вчера под ливнем к пруду ходили, — говорит она, не оборачиваясь.

— Ходил.

— Голый.

— В брюках.

— По пояс голый. Ладочка мне вашу рубашку принесла. Всю в земле. Я замочила.

— Спасибо.

— Родион Ильич.

— Что?

Она выключает воду. Вытирает руки. Поворачивается.

— Двадцать лет вы туда не ходили.

— Я помню.

— А вчера пошли.

— Пошёл.

— Из-за неё?

Я молчу. Наливаю кофе. Две ложки сахара. Сыплю.

— Из-за неё, — сама отвечает Зоя Тихоновна. — Вот и я говорю.

— Вы ничего не говорили.

— Сейчас говорю. Хорошая она, Родион Ильич. Не обижайте.

— Я её не обижаю.

— Вы её не пускаете. Это хуже.

Она снова включает воду. Тарелки звенят.

Я стою с кофе. Горячая кружка жжёт ладонь.

* * *

Зоя Тихоновна ловит её у оранжереи.

Я вижу из окна флигеля. Стою на кухне с кофе, смотрю. Они стоят у входа: Зоя в фартуке, Лада с кружкой. Окно открыто, ветер несёт голоса.

— …с утра у пруда стояли, — говорит Зоя. — С ним?

— С ним.

— И чего он?

— Сказал «несчастный случай».

Зоя Тихоновна вздыхает. Я слышу этот вздох даже отсюда, он у неё особенный, протяжный, с присвистом.

— Ну и всё, — говорит она. — Сказал, и всё.

— Зоя Тихоновна, это была девочка?

Чашка в моей руке вздрагивает. Кофе плещет на запястье. Горячий. Не чувствую.

— Кто вам сказал? — голос Зои меняется. Становится тихим и острым.

— Никто. Рисунок в подсобке. Детский. Подпись — «Это для мамы». Буква «я» перевёрнута. Так пишут лет в шесть, в семь.

Долгая пауза.

Я ставлю чашку на подоконник. Руки дрожат. Мелко, противно.

— Лада, — говорит Зоя Тихоновна. — Милая. Послушайте старуху.

— Слушаю.

— Не расспрашивайте.

— Почему?

— Потому что он не скажет. А если скажет — сломается. Он двадцать лет на одной ноге стоит, как цапля. Толкнёте — упадёт.

— А если не толкать — простоит ещё двадцать?

— Простоит.

— И это лучше?

— Это привычнее, милая.

— Привычнее кому?

— Всем.

— Нине Павловне?

— Ей больше всех.

— А Илье Петровичу?

Зоя Тихоновна молчит. Долго.

— Илья Петрович вас позвал, — говорит она наконец. — Вот вы и думайте, чего ему привычно.

— Он хочет, чтобы кто-то толкнул.

— Я этого не говорила.

— Вы сказали.

— Ох, язык ваш.

Лада молчит.

— Вы рисунок трогали? — спрашивает Зоя.

— Нет. Сквозь щель видела.

— Вот и не трогайте. И дверь не трогайте. И к Нине Павловне с этим не ходите. Христом богом прошу.

— Хорошо.

— Обещаете?

— Обещаю не ходить к Нине Павловне.

— А остальное?

— Остальное — посмотрим.

Зоя Тихоновна качает головой. Уходит к дому. Лада стоит одна у входа в оранжерею. Потом оборачивается. Смотрит прямо на окно флигеля.

На меня.

Я отступаю в глубину кухни. Поздно, конечно. Видела.

Она поднимает руку. Машет. Коротко, два раза.

Я не машу в ответ. Стою, как дурак, с пустой чашкой.

* * *

После обеда я заставляю себя работать. Сижу в своей комнате с ноутбуком, сверяю отчёты по жилому комплексу. Цифры прыгают. Перечитываю одну таблицу трижды.

Пишет Матвей Гордеев: «Родион, добрый день. Подтверждаю визит на следующей неделе, четверг. Хочу посмотреть всё, включая оранжерею. Мои архитекторы в восторге от фото».

Восторге.

Пишу: «Оранжерея на реставрации».

Ответ через минуту: «Тем лучше. Посмотрю, во что вкладываться».

Закрываю ноутбук.

Звоню Асе. Сам не знаю зачем.

— Родь? — Она берёт сразу. — Что-то случилось?

— Нет.

— Ты мне звонишь среди рабочего дня. Значит, случилось.

— Ась. Вторая лента. Голубая. Ты помнишь, где она потерялась?

Тишина в трубке. Длинная. Я слышу, как Ася дышит. Часто, мелко.

— Родь, — шепчет она. — Ты зачем?

— Помнишь или нет?

— Мама её искала. Неделю. Весь сад перерыла. Не нашла. Потом сказала — хватит. И всё.

— Понятно.

— Родь, что происходит?

— Ничего. Работаю.

— Ты врёшь. Ты трёшь переносицу, я слышу.

Я опускаю руку. Действительно тёр.

— Пока, Ась.

Иду в оранжерею. Сказать ей. Про четверг. Про Матвея. Надо сказать, она должна знать. Это честно.

Я репетирую по дороге. «Владлена Аркадьевна, в четверг приезжает покупатель». Нет. «Лада, в четверг…» Нет.

Подхожу к двери.

Она внутри. Сидит на корточках у перевёрнутой кадки — той, у южной стены, ливень её опрокинул. Разгребает руками мокрую землю. Под кадкой — гнилые доски, мусор, старые листья.

Я открываю рот.

Она поднимает руку. Что-то тянет из земли. Медленно. Осторожно, двумя пальцами.

Лента.

Узкая, атласная. Грязная, в глине. Но цвет видно даже отсюда. Голубой. Яркий голубой, ещё не выгоревший. Сохранилась под кадкой, в темноте.

На конце узелок. Двойной. Детский.

Вторая.

Их было две. Одна в правой косичке, одна в левой. Мама заплетала каждое утро. Голубые, под цвет платья.

Лада поворачивает голову. Видит меня в дверях.

Держит ленту на ладони. Протягивает. Молча.

Я не могу сделать шаг.

Я не могу сделать вдох.

Глава 9. Не твоя территория

Он стоит в дверях и не дышит.

Я вижу. Грудь не поднимается. Пальцы на косяке побелели. Лицо серое, губы серые.

— Родион, — говорю. — Дышите.

Он моргает.

— Вдох, — говорю. — Ну. На четыре счёта. Раз. Два.

Он вдыхает. Рывком. Со звуком.

— Три. Четыре. Выдох.

Выдыхает.

Я встаю с корточек. Колени в грязи, ладони в глине. Лента лежит у меня на ладони. Голубая, яркая.

Подхожу к нему. Медленно, как к испуганной лошади. Он не двигается.

Протягиваю ленту.

Он смотрит на неё долго. Потом берёт. Двумя пальцами за кончик. Узелок качается.

— Под кадкой была, — говорю. — В земле. Ливень вымыл.

Он кивает.

— Вторая, — говорит он. Голос хриплый, сорванный. — Первая у вас.

— У меня. В блокноте.

— Отдадите?

— Отдам.

Я иду к столу. Блокнот лежит на ящике. Достаю выгоревшую ленту, протягиваю.

Он держит обе. Одну голубую, одну почти белую. Две ленты на ладони большого мужчины. Узелки одинаковые.

Он сжимает кулак. Прячет ленты в карман брюк.

— Спасибо, — говорит.

— Пожалуйста.

— Лада.

— Да?

— В четверг приезжает покупатель.

Вот так. Сразу, следом за лентами.

Я вытираю руки о джинсы. Глина размазывается.

— В четверг, — повторяю.

— Матвей Гордеев. Хочет осмотреть всё. Оранжерею тоже.

— Зачем ему оранжерея?

— Он покупает объект целиком.

— Объект, — говорю. — Ну да.

Он поворачивается уходить. Останавливается.

— Я сказал вам заранее, — говорит. — Чтобы вы знали.

— Это благородно.

— Это честно.

— Это одно и то же, Родион.

Он уходит. Медленно. Рука в кармане.

* * *

Матвей Гордеев приезжает в четверг в одиннадцать.

Чёрный внедорожник, водитель, ещё одна машина следом — двое молодых в одинаковых пиджаках, с планшетами. Архитекторы.

Он выходит первым. Невысокий, крепкий, загорелый. Светлый костюм, рубашка с открытым воротом. Лет сорок пять. Улыбка на всё лицо, белая, широкая. Часы на запястье, тяжёлые.

— Родион! — обнимает. Хлопает по спине. — Ну, показывай своё сокровище.

— Матвей Львович.

— Брось, какой Львович. Мы с тобой на «ты» с пятнадцатого года.

Он поворачивается. Видит меня. Я стою у крыльца, у пионов, в рабочей куртке и перчатках Ильи Петровича.

— А это кто у нас?

— Владлена Сомова, — говорит Родион. — Ландшафтный архитектор. Работает над оранжереей.

— Архитектор! — Матвей идёт ко мне, протягивает руку. — Очень приятно. Матвей.

Я стягиваю перчатку. Пожимаю. Рука сухая, тёплая, хватка крепкая.

— Лада, — говорю.

— Лада, — повторяет он медленно. Пробует. — Красивое имя. Старинное.

— Владлена — советское. Лада — машина.

Он смеётся. Громко, от души.

— Родион, где ты её нашёл?

— Отец нашёл.

— У Ильи Петровича вкус.

Родион молчит. Желвак ходит.

* * *

У крыльца Матвей останавливается. Смотрит на пионы. На красные побеги, ставшие уже кустами по колено, на тугие бутоны.

— О, пионы! Моя мама обожала пионы. Сорт какой?

— Старый, — говорю. — Советский. Скорее всего, «Хохлома» или «Пионерка». Разделить их надо, они загущены.

— Так разделите. Половину мне на дачу.

— Нельзя.

— Почему?

— Правило дома.

Матвей поворачивается к Родиону.

— Какое правило?

— Пионы не трогать, — говорит Родион.

— Серьёзно? Родион, ты продаёшь мне дом с правилами про цветы?

— Пока я его не продал, правила мои.

— А потом?

— Потом — как хочешь.

Матвей смеётся. Хлопает Родиона по плечу.

— Выкопаю всё и газон закатаю. Ненавижу пионы, если

честно. Мама обожала, я ненавижу. Пахнут, как бабушкин шкаф.

Родион не улыбается. Я вижу его лицо. Каменное.

Я вдруг понимаю: он не хочет, чтобы Матвей их выкопал.

Ни за какие деньги.

Они ходят по дому. Я не хожу. Я работаю в оранжерее, ставлю стёкла с рабочими. Тридцать два готово.

Через час они приходят ко мне.

Матвей заходит первым. Останавливается посередине. Задирает голову. Свет льётся через новое стекло, ложится ему на лицо.

— Мать моя, — говорит тихо.

Архитекторы фотографируют. Щёлкают затворы.

— Это что, девятнадцатый век? — спрашивает Матвей.

— Тысяча восемьсот девяносто шестой, — говорю. — Клёпаный каркас. Литьё мальцовских заводов, на стойках клеймо.

— Где?

Я подвожу его к стойке. Показываю. Под ржавчиной, на высоте колена, едва видны буквы.

Он садится на корточки. Трогает клеймо пальцем. Дорогие брюки — коленом в пыль. Ему всё равно.

— Слушайте, это же музейная вещь.

— Музейная.

— Её восстановить — сколько?

— По смете Ильи Петровича — восемь миллионов. С

отоплением.

— Восемь. — Он кивает. — Нормально. А потом?

— А потом здесь будет сад. Камелии. Лимоны. Древовидные пионы. Открытый для посещения.

— Для посещения?

— Для людей.

— Каких людей?

— Любых. Местных. Школьников. Пенсионеров. Тех, кому негде посмотреть на камелии в Тверской области.

Матвей поднимается. Отряхивает колено. Смотрит на меня с интересом. Внимательно, оценивающе.

— У меня тут будет клубный посёлок, — говорит. — Сорок домов. Каждый от двадцати миллионов. Как вы думаете, Лада, жителям посёлка понравится, если через их территорию будут ходить пенсионеры с внуками?

— Тогда не стройте здесь посёлок.

— Лада, — говорит Родион от двери.

— Что?

— Матвей Львович спрашивает.

— Я отвечаю.

Матвей смеётся снова. Поднимает руки.

— Нет, Родион, пусть. Мне нравится. Продолжайте, Лада. Почему не строить?

— Потому что здесь почва — суглинок. Высокие грунтовые воды. Пруд питается ключами, отсюда название усадьбы. Сорок фундаментов вы посадите на сваи, это плюс тридцать

процентов к стоимости. Ключи перекроете — пруд зацветёт за два года, потом заболотится. Липовой аллее двести лет, корни уходят на пятнадцать метров вширь, любую траншею под коммуникации придётся вести в обход. И это я ещё про охранный статус не начинала.

— Какой охранный статус?

— Усадьба внесена в региональный перечень выявленных объектов культурного наследия. С две тысячи третьего года. Илья Петрович подавал заявку. Документы у него. Любые изменения — через согласование.

Тишина.

Архитекторы перестают щёлкать. Переглядываются.

Матвей медленно поворачивается к Родиону.

— Родион, — говорит он мягко. — Ты мне про статус не говорил.

Родион смотрит на меня. Глаза тёмные. Злые. Очень злые.

— Выявленный, — говорит. — Не включённый. Это разное.

— Пока разное, — говорю.

— Лада. Выйдем.

— Я работаю.

— Выйдем, — повторяет он. Тише. Опаснее.

* * *

Он ведёт меня за оранжерею. За угол, к компостной куче. Отсюда не видно ни дома, ни машин.

Останавливается. Разворачивается ко мне.

— Что это было? — спрашивает.

— Консультация.

— Вы сорвали мне переговоры.

— Я ответила на вопросы покупателя. Вы же хотели, чтобы он посмотрел всё. Я показала всё.

— Про статус вы откуда знаете?

— Из документов. Илья Петрович прислал пакет в марте. Вы бы тоже знали, если бы ваш отец вам что-нибудь присылал.

Он делает шаг ко мне. Близко. Я снова спиной к кирпичу. Это начинает входить в привычку.

— Вы на чьей стороне, Лада?

— На стороне сада.

— Сада нет. Есть ржавый каркас и полгектара бурьяна.

— Сад есть. Вы его просто не видите.

— Зато вы видите всё. И Гордеева разглядели хорошо, я смотрю.

Я моргаю.

— Что?

— «Лада — машина». Вы с ним шутите. Со мной вы цитируете ГОСТ.

— Вы ревнуете?

Он отшатывается. На сантиметр. Но я вижу.

— Не говорите глупостей.

— Вы ревнуете меня к покупателю.

— Я ревную… — он обрывает себя. Сжимает челюсть так,

что скрипят зубы. — Я защищаю сделку.

— Сделку.

— Сделку.

— Тогда защищайте. А я буду защищать сад.

Он смотрит на меня. Долго. Дышит носом.

— Матвей увезёт отсюда всё, — говорю тише. — Пионы выкопает. Газон закатает. Вы слышали.

— Слышал.

— И вам всё равно?

— Мне не всё равно.

— Тогда почему?

— Потому что у компании дыра в сто сорок миллионов. Потому что двести человек в офисе ждут зарплату. Потому что отец играет в сад, мать играет в забвение, а я один считаю деньги.

Он выдыхает. Резко. Отворачивается.

— Простите, — говорит. — Вам это знать не нужно.

— Нужно.

— Зачем?

— Чтобы не считать вас галстуком.

— Вы невыносимая, — говорит.

— Я знаю. Ася передала.

— Ася здесь ни при чём.

— Ася всегда при чём.

Он разворачивается и уходит. Широким шагом, к машинам.

Я прислоняюсь к стене. Кирпич тёплый от солнца.

Сердце стучит. Глупое. Колотится, как после бега.

Ревнует.

Он меня ревнует.

* * *

В три часа гости уезжают. Я вижу из оранжереи, как они прощаются у крыльца. Матвей что-то говорит Родиону, долго, наклонившись. Родион кивает. Хмурится.

Архитекторы уже в машине.

Матвей пожимает Родиону руку. Потом оборачивается. Смотрит на оранжерею.

И идёт ко мне.

Через всю лужайку, по мокрой траве, в светлых брюках.

— Лада, — говорит он, останавливаясь в дверях. — Минуту.

— Слушаю.

Он достаёт из внутреннего кармана визитку. Белую, плотную, с золотым тиснением. Протягивает.

— Я сорок минут слушал вас, — говорит он. — Сваи, ключи, охранный статус. Мои архитекторы за полгода про это ни слова не сказали.

— Плохие архитекторы.

— Дорогие. — Он улыбается. — Я строю посёлок под Звенигородом. Двести гектаров. Леса, речка, старый парк от графской усадьбы. Мне нужен главный ландшафтный архитектор. С правом решающей подписи.

Я смотрю на визитку. Не беру.

— Сколько? — спрашиваю. Вырывается.

— Три ваших годовых дохода. Минимум. Контракт на пять лет. Служебная квартира в Москве.

Руки остаются в карманах куртки.

Он кладёт её на ящик с инструментами. Рядом с моим блокнотом.

— Подумайте, — говорит. — Здесь у вас восемь недель. Потом Родион всё продаст, а вы останетесь на улице. Подумайте. Я ведь куплю, Лада. Рано или поздно. Я всегда покупаю.

Он уходит.

Я стою над ящиком. Визитка лежит белым прямоугольником. Золотые буквы ловят солнце.

Пять лет. Квартира. Решающая подпись.

То, о чём я мечтала с института.

Я не беру её в руки.

Но и в компост не выбрасываю.

У входа хрустит гравий. Я поднимаю голову.

Родион стоит в двух шагах от двери. Смотрит на визитку. Потом на меня.

Подходит. Наклоняется над ящиком. Берёт визитку двумя пальцами, читает. Долго, внимательно, каждую строчку.

— Звенигород, — говорит ровно. — Хорошее место.

— Я ещё ничего не решила.

— Я не спрашивал.

Он кладёт визитку обратно. Лицевой стороной вниз. Аккуратно, уголок к уголку блокнота.

И уходит.

А я стою и понимаю: Матвею я так и не сказала «нет».

Глава 10. Договор дороже чувств

POV: Родион

— Он готов, пап.

Я стою на крыльце флигеля. Вечер. Над прудом розовеет, комары звенят у лица. В кармане брюк лежат две ленты. Я их так и не вынул.

— Кто готов? — спрашивает отец.

— Гордеев. Был сегодня. Смотрел всё. Цену подтвердил.

— Какую?

— Четыреста двадцать.

— Миллионов?

— Миллионов.

В трубке тихо. Потом отец кашляет. Долго, с хрипом.

— Хорошая цена, — говорит он.

— Хорошая.

— Закроешь дыру.

— Закрою. И людям зарплату на год вперёд.

— А Лада?

Я смотрю на окно угловой комнаты. Свет горит. На подоконнике тень от стаканчиков с горошком.

— Ладе Гордеев предложил работу, — говорю. — Главным ландшафтником. В Звенигороде. Пять лет контракт.

— И она?

— Не отказалась.

Отец молчит. Я слышу его дыхание, тяжёлое, с присвистом.

— Я приеду завтра, — говорит.

— Пап, не надо. У тебя давление.

— У меня всегда давление. Тридцать лет. Приеду.

— Зачем?

— Посмотреть.

— На что?

— На тебя, Родя. На тебя.

Гудки.

Я стою на крыльце ещё долго. Комары жрут шею. Свет в угловой комнате гаснет, потом зажигается снова. Она не спит. Ходит. Я слышу её шаги через открытое окно — босиком, по скрипучему полу.

Пишу ей. Номер у меня есть, из договора.

«Отец приедет завтра в полдень».

Стираю. Пишу: «Завтра приедет отец. Подготовьте чертежи».

Отправляю.

Ответ через минуту: «Они всегда готовы, Родион. Спокойной ночи».

Спокойной ночи.

Смотрю на экран. Долго, глупо, по-мальчишески. Потом убираю телефон.

* * *

Он приезжает в полдень. На такси, со станции. Старый,

сутулый, в сером пальто. В мае. Пальто я помню с детства. Мать сто раз просила его выбросить.

Серое пальто.

Сокольники. Шестнадцать лет назад. Пожилой мужчина у стенда.

Я понимаю, что держу дверь такси слишком долго.

— Сынок, — отец выбирается, опираясь на мою руку. Пальцы сухие, лёгкие. Он похудел. Когда успел?

— Пап.

— Где она?

— В оранжерее.

— Веди.

— Сначала в дом. Чай. Таблетки.

— Родион. Веди.

Веду.

Он идёт медленно. На каждом шаге останавливается, смотрит. На липы. На яблони, уже отцветающие, белые лепестки на траве. На пруд — смотрит долго, не отворачиваясь.

Я отворачиваюсь за него.

У оранжереи он замирает.

Тридцать шесть новых стёкол. Солнце бьёт в купол. Каркас зачищен на южной стороне, блестит серым металлом. Рабочие красят северную стойку в тёмно-зелёный.

— Господи, — шепчет отец.

Лада выходит навстречу. В комбинезоне, перемазанном

краской. Пучок съехал. Щека в зелёном пятне.

— Илья Петрович, — говорит она. И улыбается.

Мне она так ни разу не улыбалась.

— Ладушка.

Он раскрывает руки. Она шагает к нему. Обнимает осторожно, держа испачканные ладони на отлёте.

— Вы похудели, — говорит она.

— Возраст, деточка.

— Вы мне в марте другое говорили.

— В марте я был моложе.

Они смеются. Оба. Я стою рядом и чувствую себя лишним. В собственной усадьбе.

— Покажи, — говорит отец.

Она показывает.

* * *

На столе в оранжерее расстелены чертежи. Ватман, калька, распечатки. Лада водит по ним карандашом.

— Здесь камелии, — говорит. — Вдоль северной стены, им нужна полутень. Здесь — цитрусовые в кадках, по оси, как было. Здесь, под куполом, древовидные пионы. Три куста. Я нашла питомник под Тулой, у них есть старые сорта.

— А тут? — отец показывает на пустой прямоугольник у кирпичной стены. Рядом с зелёной дверью.

— Тут пока ничего, — говорит Лада.

— Почему?

Она бросает на меня взгляд. Быстрый.

— Потому что тут дверь, Илья Петрович. В подсобку. Она заперта. Её нет в смете.

Отец смотрит на дверь. Долго.

— Ключ у меня, — говорит.

Я перестаю дышать.

— Пап.

— Ключ у меня, Родион. Двадцать лет. В шкатулке, в кабинете.

— Зоя Тихоновна сказала, потеряли.

— Зоя Тихоновна сказала то, что я велел.

Лада откладывает карандаш. Медленно.

— Вы его откроете? — спрашивает.

— Не сейчас, — говорит отец. — Не сегодня.

— А когда?

— Когда будет кому войти.

Он поворачивается ко мне.

— Родион. Сядь.

— Я постою.

— Сядь. Я старый, мне смотреть вверх тяжело.

Сажусь. На ящик со стеклом. Отец опускается на табурет напротив. Лада стоит у стола, сжимает карандаш.

— Четыреста двадцать, — говорит отец. — Хорошая цена. Ты прав.

— Тогда в чём дело?

— Дело в том, сынок, что ты ни разу сюда не заходил.

— Я здесь каждый день.

— В дверях стоишь. Я Зою спрашивал. Стоишь в дверях и смотришь. Внутрь не заходишь.

— Пап…

— Заходил, — тихо говорит Лада.

Мы оба поворачиваемся к ней.

— В грозу, — говорит она. — Закрывал фрамуги. Спасал рассаду. Рубашку свою отдал.

Отец смотрит на меня. Глаза у него влажные, старческие, светлые.

— Правда?

— Правда, — говорю. Глухо.

— Рубашку.

— Она промокла бы всё равно.

— Рубашку, Родя.

Он откидывается на табурете. Закрывает глаза. Морщины разглаживаются на секунду.

— Неделя, — говорит он, не открывая глаз.

— Что неделя?

— Даю тебе неделю. Работай здесь. С ней. Руками. Красить, сажать, таскать. Не в дверях стоять — внутри. Через неделю приходи ко мне и скажи, хочешь ли ты продавать. Скажешь «хочу» — я подпишу договор с Гордеевым сразу. До открытия.

До открытия.

Он отменяет своё же условие.

— Пап, ты серьёзно?

— Серьёзно.

— А если не скажу «хочу»?

— Тогда скажешь, чего хочешь. Если сможешь.

Лада молчит. Карандаш в её пальцах ломается. Тихо, с хрустом. Она смотрит на обломки.

— Илья Петрович, — говорит она. — Вы рискуете.

— Я, деточка, двадцать лет ничем не рисковал. Пора.

— А если он скажет «хочу»?

— Тогда вы поедете в Звенигород. К Гордееву. И будете там счастливы.

Лада бледнеет.

— Откуда вы…

— Родион сказал.

Она поворачивается ко мне. Смотрит. Я выдерживаю взгляд. Плохо выдерживаю — на шее выступает пот.

— Вы рассказали отцу про визитку?

— Рассказал.

— Зачем?

— Затем, что он спросил про вас.

— И вы сразу доложили, что я ухожу.

— Вы не ушли.

— Я не отказалась. Это разное.

— Это разное, — соглашаюсь.

Отец смотрит на нас. С одного на другую. Уголки его рта ползут вверх.

— Неделя, — повторяет он. — Ты принимаешь условие,

Родион?

— Это опять шантаж.

— Это опять условие.

— Хорошо, — говорю. — Неделя.

— Руками.

— Руками.

— И внутрь заходишь.

— Захожу.

Он кивает. Протягивает мне руку. Сухую, лёгкую. Пожимаю.

— Договор дороже денег, — говорит отец. — Ты у меня юрист, ты знаешь.

* * *

Отец уходит пить чай с Зоей Тихоновной. Мы остаёмся в оранжерее вдвоём.

Лада собирает чертежи. Складывает. Руки двигаются быстро, резко, бумага шуршит.

— Вы злитесь, — говорю.

— Я работаю.

— Вы злитесь и работаете.

— Я умею совмещать.

Она скручивает ватман в трубку. Перетягивает резинкой. Резинка лопается, бьёт её по пальцам.

— Чёрт.

— Дайте.

— Не надо.

Я забираю трубку из её рук. Держу, пока она ищет другую резинку в карманах. Карманов много. Резинки нет ни в одном.

— Вы правда рассказали ему про Гордеева? — спрашивает она, не поднимая глаз.

— Правда.

— Зачем?

— Он должен был знать.

— Это моё решение. Моя работа. Моя жизнь, в конце концов.

— Вы приняли решение?

Она замирает. Рука в кармане.

— Нет.

— Тогда я рассказал о предложении. Решения не было.

— Вы юрист до мозга костей.

— Я ваш… — останавливаюсь. Ваш кто? Сосед? Заказчик? Помощник на неделю? — Я здесь живу. Мне не всё равно, кто здесь будет работать.

— Через неделю здесь никто не будет работать. Вы скажете «хочу», и Гордеев закатает всё в газон.

— Вы уверены, что я скажу «хочу»?

Она поднимает глаза. Наконец.

— А вы — нет?

Я молчу.

Она находит резинку. В нагрудном кармане комбинезона. Забирает у меня трубку. Пальцы задевают мои. Шершавые,

в зелёной краске, тёплые.

— Неделя, Родион, — говорит она. — Посмотрим, на что вы способны руками.

— А вы?

— Что я?

— Вы дадите ответ Гордееву через неделю?

Она прижимает трубку ватмана к груди.

— Вот через неделю и узнаете.

* * *

Вечером отец уезжает. Отказывается ночевать. Говорит — в доме ему тяжело, во флигеле все комнаты заняты.

Я провожаю его до такси. Он садится. Опускает стекло.

— Родя.

— Что?

— Она хорошая.

— Ты уже говорил.

— Говорю ещё раз. Ты не услышал.

Такси уезжает. Я стою у ворот. Скрипят петли — Лада всё ещё не смазала. Записала, наверное, в свой блокнот. «Ворота — смазать». Вместе с «Г. — у двери».

Иду обратно по аллее.

У флигеля на скамейке сидит Зоя Тихоновна. Лущит горох в миску. Рано ещё для гороха, магазинный, наверное.

— Уехал? — спрашивает.

— Уехал.

— Похудел он.

— Я видел.

— Вы ему таблетки купите. Те, от сердца. У него кончаются, он стесняется сказать.

— Почему мне не сказал?

— А вы спрашивали?

Я останавливаюсь.

— Зоя Тихоновна, ключ от подсобки. Вы знали, где он?

— Знала.

— И молчали.

— Велено было.

— Двадцать лет?

— Двадцать лет, Родион Ильич. Я человек подневольный. — Она бросает стручок в ведро. — А теперь вот вы знаете. И что?

— Не знаю.

— Вот и я двадцать лет не знала. Носила в себе. Тяжело носить, Родион Ильич. Ой, тяжело.

Телефон вибрирует в кармане. Рядом с лентами.

Мама.

— Да.

— Отец был у тебя?

Голос ровный. Ледяной.

— Был.

— Зачем?

— Посмотреть оранжерею.

— И?

— Он дал мне неделю. Подумать.

— Подумать о чём, Родион?

— О продаже.

Тишина. Такая плотная, что я слышу, как стрекочет кузнечик в траве у аллеи.

— Он дал тебе неделю, — говорит мать. — Подумать. Двадцать лет он думает, Родион. Двадцать лет я жду, что этот дом перестанет существовать. И вот покупатель есть. Деньги есть. Ты есть. А он даёт тебе неделю.

— Мама…

— Половина усадьбы моя. По закону. Совместно нажитое. Мне Ксения Олеговна вчера подтвердила.

Ксения Олеговна — её адвокат. Двадцать лет ведёт её дела. Ни одного не проиграла.

— Мама, что ты задумала?

— Ничего, сынок. Просто говорю. Чтобы ты знал.

— Что знал?

Пауза. Короткая.

— Если ты не продашь, — говорит мать спокойно, — продам я.

Глава 11. Ремонт по правилам

— Мать продаст свою половину.

Он говорит это в семь утра. Стоит в дверях оранжереи — то есть внутри. На шаг внутри. В старых джинсах, в серой футболке, в рабочих ботинках. Ботинки новые, с биркой на шнурке.

Я опускаю банку с грунтовкой.

— Доброе утро, — говорю.

— Доброе. Вы слышали?

— Слышала. Что значит — свою половину?

— Совместно нажитое имущество. Она может выделить долю и продать её отдельно.

— Гордееву?

— Кому угодно.

— Половину оранжереи? Он что, распилит её по оси?

Он моргает. Потом уголок рта дёргается.

— Юридически — да.

— Прекрасно. Камелии ему, лимоны вам.

— Лада. Это серьёзно.

— Я знаю, что серьёзно. — Ставлю банку на ящик. Вытираю руки ветошью. — Поэтому шучу. Мне так легче.

— А мне нет.

— А вам как легче?

Он думает. Честно думает, морщит лоб.

— Не знаю, — говорит. — Работать, наверное.

— Тогда работайте.

Я протягиваю ему шпатель.

Он смотрит на шпатель. Потом на меня.

— Что с ним делать?

— Счищать ржавчину. Северная стойка, от пола до двух метров. Потом шкуркой. Потом обезжириваем, потом я грунтую.

— Я юрист, Лада.

— А я ландшафтный архитектор. И что? Я вчера стёкла резала. Вы сегодня ржавчину. Отец ваш сказал — руками.

— Отец сказал — внутри.

— Вы внутри. Видите? Пол под ногами. Купол над головой. Поздравляю.

Он оглядывается. На купол, на стены, на пол. Медленно, по очереди. Заметил, где стоит. Сейчас, на четвёртой неделе жизни здесь, наконец заметил.

— Почему я счищаю, а вы грунтуете?

— Потому что грунтовать надо уметь.

— А счищать?

— А счищать надо хотеть.

Он берёт шпатель. Подходит к стойке. Примеряется. Скребёт.

Ржавчина сыплется ему на ботинки. Рыжая пыль.

— Бирку срежьте, — говорю.

— Что?

— На шнурке. Бирка. Магазинная.

Он смотрит вниз. Краснеет. Сорок два года, юрист, девелопер — краснеет до ушей.

Отворачиваюсь. Улыбаюсь в ветошь.

* * *

Через два часа у него стёрты ладони.

— Перчатки, — говорю.

— Не нужны.

— Нужны. Вы себе руки сотрёте до мяса.

— У меня есть.

— Где?

Он молчит. Показывает на перчатки, торчащие из кармана моей куртки. Кожаные, мужские. Ильи Петровича.

— Это ваши, — говорит.

— Это вашего отца.

— Он вам отдал.

— Зоя Тихоновна отдала.

— Значит, ваши.

Я стаскиваю перчатки. Протягиваю.

— Берите.

— Я не ношу чужие…

— Чужие кружки. Я помню. Перчатки — не кружки. И они не чужие. Они вашего отца.

Он берёт. Натягивает. Ему впору — точно по руке. На мне болтались.

Он сжимает и разжимает пальцы. Смотрит на них. Долго.

— Он в них яблони стриг, — говорит тихо. — Со старым садовником. Я маленький был, стоял рядом. Мне давали держать лестницу.

— А потом?

— А потом перестал стричь.

— Когда?

— Давно.

Я больше не спрашиваю. Он снова скребёт.

* * *

Вечером второго дня он снимает футболку у колонки во дворе. Моет голову под струёй, шею, плечи. Вода ледяная, он шипит.

Я вижу шрам. Снова. Белый полукруг на лопатке.

— Откуда? — спрашиваю. Не успеваю остановиться.

Он выпрямляется. Вода течёт по спине.

— Что откуда?

— Шрам.

— Детство.

— Упали?

— Порезался.

— Обо что?

— О сваю. Под мостиком.

Тишина. Колонка булькает, вода уходит в сток.

— Здесь? — спрашиваю. Тихо.

— Здесь.

— Сколько вам было?

— Двадцать два.

— Это не детство, Родион.

— Для меня — детство.

Он берёт полотенце с колонки. Вытирается. Долго, тщательно, лицо прячет в ткань.

— Вы хотели спросить, — говорит из-под полотенца. — Спрашивайте.

— Не буду.

— Почему?

— Зоя Тихоновна просила не толкать.

Он опускает полотенце. Смотрит на меня.

— Она вам это сказала?

— Сказала, вы цапля. На одной ноге.

Он фыркает. Громко, по-конски.

— Цапля, — повторяет. — Двадцать лет цапля.

— Можно я не буду толкать? Я просто постою рядом. На случай, если вы решите встать на вторую.

Он молчит долго.

— Стойте, — говорит наконец.

* * *

На третий день мы ругаемся из-за цвета.

— Белый, — говорит он.

— Зелёный.

— Белый. Светлее, воздушнее. Все оранжереи сейчас белые.

— Все оранжереи сейчас из поликарбоната. А эта — ты-

сяча восемьсот девяносто шестого года. Под слоями краски — зелёный. Я соскоблила, видела. RAL шесть ноль ноль девять. Ну, близко к нему.

— Мне не нравится этот зелёный.

— Вам не должен нравиться. Он должен быть историческим.

— Историческим для кого?

— Для каркаса.

— Каркас не обидится.

— Каркас — нет. Я обижусь.

— Я заказчик.

— Вы помощник на неделю. Заказчик — ваш отец. А ваш отец сказал: «Как было».

Он кладёт кисть. Вытирает лоб тыльной стороной перчатки. На лбу остаётся рыжая полоса.

— Сколько стоит ваш исторический зелёный?

— Четыреста за литр.

— А белый?

— Двести восемьдесят.

— На весь каркас — литров сто?

— Сто двадцать.

— Это четырнадцать тысяч разницы.

— Это зелёный, Родион.

— Это четырнадцать тысяч.

— Вы мне вчера сэкономили на стекле восемьдесят. Позвонили своему тверскому поставщику. Я видела счёт.

Он замирает.

— Вы смотрели мою почту?

— Счёт пришёл мне. Поставщик в копию поставил. Видимо, решил, что мы… — я сбиваюсь, — что мы вместе работаем.

— Мы вместе работаем.

— Неделю.

— Неделю, — соглашается он. — Ладно. Зелёный.

— Правда?

— Восемьдесят минус четырнадцать — шестьдесят шесть. Я всё равно в плюсе.

Я смеюсь. Он смотрит на меня, и в глазах что-то теплеет.

— Вы смеётесь, когда выигрываете, — говорит.

— А вы считаете, когда проигрываете.

— Я не проиграл. Я уступил.

— Это разное?

— Совсем разное.

* * *

На четвёртый день он чинит ступень.

Я не прошу. Выхожу утром из флигеля — а он на крыльце большого дома. На коленях. В руках гвоздодёр. Третья ступень снята, лежит на гравии, гнилая, рыжая, разломанная пополам.

Рядом — новая доска. Светлая, пахнет сосной.

— Вы что делаете? — спрашиваю.

— Ступень.

— Сами?

— Сам.

— Вы умеете?

— Нет.

— Тогда зачем?

Он поднимает голову. Солнце сбоку, лицо в тени.

— Вы в первый же день сказали — гнилая. Я на ней каждое утро стою. Надоело.

— Могли бы Фёдора позвать.

— Фёдор опять что-нибудь утащит на заточку.

Я сажусь на нижнюю ступень. Рядом с пионами. Бутоны уже тугие, круглые, с проблеском розового на макушке. Неделя — и раскроются.

Я их не трогаю. Даже не смотрю на них долго. Правило.

— Давайте помогу, — говорю.

— Держите доску.

Держу. Он забивает гвозди. Мажет по первому. Шипит. Бьёт по второму — ровно. По третьему — ровно.

— Получается, — говорю.

— Не говорите под руку.

— Вы сами говорите под руку. Постоянно.

— Это другое.

— Это то же самое.

Последний гвоздь. Он выпрямляется. Встаёт на новую ступень. Переносит вес. Доска не скрипит.

— Вот, — говорит.

— Вот, — соглашаюсь.

Он смотрит на меня сверху. Я снизу. Пионы рядом.

— Лада.

— Что?

— Мама в детстве ругалась на эту ступень. Каждую весну. Отец обещал починить. Так и не починил.

— Теперь починили вы.

— Теперь починил я.

Он спускается. Садится рядом. Плечом к плечу. Пахнет сосновой стружкой, потом, ржавчиной. Нормальным мужчиной пахнет. Работавшим.

— Гордеев звонил, — говорит он вдруг.

— Вам?

— Вам. Вчера. Вы не взяли трубку, он перезвонил мне. Спрашивал, передал ли я вам, что контракт готов.

— Передали?

— Передаю.

— Спасибо.

— Вы прочитаете?

— Прочитаю.

— И?

— И подумаю.

Он кивает. Смотрит на пионы.

— В Звенигороде пионов нет, — говорит. — Я проверял. Там липы и лиственницы.

— Вы проверяли питомники Звенигорода?

— Я проверяю всё.

— Зачем?

Он не отвечает.

Мы сидим. Ничего не говорим.

Зоя Тихоновна выглядывает из окна флигеля. Видит нас. Исчезает. Окно тихо закрывается.

* * *

На шестой день мы красим купол.

Леса до самого верха, шаткие, скрипучие. Он наверху, я на среднем ярусе. Подаю банку.

— Ещё, — говорит.

Подаю.

— Кисть упала.

— Куда?

— Вниз.

— Зачем вы её уронили?

— Я её не ронял. Она сама.

— Кисти сами не падают.

— Эта — круглая.

Я замираю. Поднимаю голову. Он смотрит на меня сверху, совершенно серьёзно, и только глаза смеются.

— Это моя шутка, — говорю. — Про рулетку.

— Теперь моя.

— Вы украли шутку.

— Позаимствовал. Не спросив. Как Фёдор.

Я начинаю хохотать. Громко, некрасиво, до слёз. Держусь

за стойку лесов, чтобы не свалиться. Он смеётся тоже — тихо, хрипло, в плечо, и банка в его руке качается, и зелёная краска плещет через край.

Прямо ему на голову.

Мы замираем.

Капля ползёт по его виску. Зелёная, густая. Исторический зелёный. Четыреста за литр.

— Родион, — шепчу.

— Не говорите ничего.

— Вы зелёный.

— Я знаю.

— Исторически зелёный.

— Лада.

Я падаю на доски лесов и смеюсь так, что болит живот.

— Это не смешно, — говорит он сверху. Капля доползает до подбородка.

— Это очень смешно.

— У меня совещание по видео в три.

— Скажете, что новый корпоративный стиль.

— Лада.

— Исторический корпоративный стиль.

— Я сейчас спущусь.

— Спускайтесь. Я вас ацетоном оттирать не буду.

— Будете.

— С чего вы взяли?

— С того, что Зоя Тихоновна в райцентре, а сам я затылок

не вижу.

Вечером я оттираю его затылок ацетоном. На кухне флигеля, он сидит на табуретке, я стою сзади. Волосы у него жёсткие, густые, седые у висков. Под моими пальцами он сидит неподвижно, не дышит почти.

— Больно? — спрашиваю.

— Нет.

— Вы не дышите.

— Ацетон воняет.

— Это правда.

Неправда. Мы оба знаем.

* * *

Вечером седьмого дня спускаемся с лесов. Купол готов. Стойки готовы. Солнце садится в новые стёкла, и вся оранжерея горит — изнутри, медным, рыжим, зелёным.

Он стоит посередине. Внутри. Задрав голову.

— Красиво, — говорит.

— Я говорила.

— Вы говорили.

Я стягиваю рабочую перчатку. Свою, тканевую. Пальцы ноют, распухли.

Тру руки. Особенно правую. Безымянный палец. Привычка.

— Лада.

— А?

Он смотрит на мою руку.

На безымянный палец. Там, у основания, тонкая полоска. Светлее остальной кожи. Загар её не берёт. Земля в неё не въедается.

След.

Я убираю руку за спину. Поздно.

— Вы говорили — три года, — говорит он тихо.

— Три года.

— А след свежий.

Я молчу.

— Вы его носили, — говорит Родион. — Кольцо. Долго носили. Уже после.

Горло сжимается. Я смотрю на пол. На зелёные капли на плитке.

— Носили? — спрашивает он ещё тише.

Глава 12. Покупатель с улыбкой

— Носила, — говорю.

Голос выходит сиплый. Я откашливаюсь.

— Два года после развода. На этой руке. Сняла в марте.

— В марте, — повторяет Родион.

— Шестого.

Он поднимает глаза. Понимает.

— В день, когда подписали договор с отцом.

— Подписала. Пришла домой. Посмотрела на руку. Сняла и положила в коробку с семенами. Там и лежит, между астрами и бархатцами.

— Почему тогда?

— Потому что в первый… — я обрываю себя. — Потому что тогда меня кто-то выбрал. Не за удобство. За работу. За то, что я умею. Ваш отец позвонил и сказал: «Мне нужны именно вы». Шестнадцать лет помнил какую-то студентку с пионами. Мне никто такого не говорил. Ни разу.

Родион молчит. Смотрит на мою руку за спиной. Я так и держу её там, сжатую в кулак.

— Покажите, — говорит он.

— Зачем?

— Покажите.

Я вынимаю руку из-за спины. Медленно. Он берёт её. Двумя пальцами за запястье, осторожно. Поворачивает ладонью

вниз.

Большой палец проводит по светлой полоске. Один раз. От края до края.

Кожа там тонкая. Чувствительная. По руке до локтя бежит ток.

— Заживёт, — говорит он.

— Это не рана.

— Всё заживает. Загар возьмёт. Месяц, два.

— Вы-то откуда знаете?

Он отпускает мою руку.

— Читал, — говорит. — Где-то.

И уходит из оранжереи. Медленно. Не оборачиваясь.

Я стою с горящим пальцем.

Тру его о комбинезон. Не помогает. Дую на него, как в детстве на ссадину. Тоже не помогает.

— Дура, — говорю себе вслух.

Ласточка под куполом отвечает писком. Согласна, видимо.

* * *

Утром восьмого дня у ворот снова чёрный внедорожник.

— Родион не говорил, что вы приедете, — говорю.

Матвей выходит из машины. Сегодня в джинсах и в льняной рубашке. В руках коробка с тортом, бутылка вина, букет. Белые розы.

— Родион не знал, — улыбается он. — Я сюрприз.

— Вы торт.

— Я с тортом. Это разное.

Вот привязалось это «разное». Скоро вся Тверская область начнёт так говорить.

— Букет вам, — Матвей протягивает розы.

— Мне?

— Вам. Вы же не взяли трубку. Пришлось лично.

Розы пахнут магазином. Холодильником. Я держу их, как держат чужого ребёнка, на отлёте.

— Спасибо.

— Родион дома?

— В оранжерее. Пионы в кадки пересаживает.

— Родион? Пионы? — Матвей хохочет. — Вот это я посмотрю.

Мы идём к оранжерее. Родион стоит на коленях у южной стены. Перед ним три кадки и три саженца древовидных пионов из Тулы, в горшках, с сухими деревянными веточками и первыми листьями. Руки по локоть в земле.

Он поднимает голову. Видит Матвея. Видит розы у меня в руках.

Лицо закрывается. Я это вижу — так закрывают ставни. Створка, вторая, щеколда.

— Матвей, — говорит он.

— Родион! Ну ты даёшь. Фотографию можно? Для истории?

— Нельзя.

— Жалко. — Матвей присаживается рядом на корточки.

— Это что за палки?

— Древовидные пионы, — говорю. — Сорт «Хуан Гуань». Жёлтые.

— Палки за сколько?

— Двенадцать тысяч штука.

— Палки по двенадцать тысяч! Лада, вы опасная женщина.

— Это не палки. Это кустарник. Он будет жить сто лет.

— А мы?

— А мы — как получится.

Родион утрамбовывает землю вокруг саженца. Сильно, обеими ладонями.

— Не так сильно, — говорю. — Корни задушите.

Он останавливается. Убирает руки. Смотрит на свои пальцы в земле.

— Я не умею мягко, — говорит.

— Научитесь.

Матвей переводит взгляд с меня на него. Улыбается шире.

— Ой, — говорит он. — Ой, Родион.

— Что «ой»?

— Ничего. Розы где поставить, Лада? Завянут.

Розы я так и не ставлю.

* * *

Ужин накрывает Зоя Тихоновна. Во флигеле, на кухне. Матвей сам попросил — сказал, в большом доме слишком торжественно, а он человек простой.

Простой человек в часах за три миллиона.

— Зоя Тихоновна, — шепчу у плиты, пока мужчины моют руки. — Помочь вам?

— Тарелки неси. И глаза опусти.

— Почему?

— Горят они у тебя. Покупатель приметил. Не надо ему.

— Ничего у меня не горит.

— Ну-ну, — Зоя Тихоновна суёт мне стопку тарелок. — Неси, говорю.

Родион сидит во главе стола. Чистый, выбритый, в белой рубашке. Галстука нет. Вымыл руки, но под ногтями всё равно земля. Я вижу. Я одна, наверное, вижу.

— Ну, Родион, — Матвей разливает вино. — Илья Петрович звонил мне вчера. Сказал, завтра ты ему даёшь ответ.

— Даю.

— И?

— Завтра и узнаешь.

— Вот вредный, — смеётся Матвей, поворачиваясь ко мне. — Он всегда такой?

— Всегда, — говорю.

— А вы как с ним работаете?

— Терплю.

— А он?

— Он тоже терпит.

Родион поднимает бровь. Режет мясо. Нож скрипит по тарелке.

— Лада у нас терпеливая, — говорит он. — За неделю научила меня держать шпатель. И ступени чинить.

— Вы чинили ступени? — Матвей таращит глаза. — Сам?

— Сам.

— Слушай, я тебя не узнаю. Ты в пятнадцатом году на объект в Химках в бахилах заходил.

— В шестнадцатом.

— Тем более.

Матвей отпивает вина. Смотрит на меня поверх бокала. Взгляд тёплый, оценивающий, долгий.

— Это она тебя так, — говорит он Родиону. Не мне. — Она умеет. Я вижу.

— Что умеет? — спрашиваю.

— Заставлять мужчин работать руками.

— Это называется субподряд, Матвей Львович.

Он хохочет. Хлопает ладонью по столу. Бокалы звенят.

— Нет, Родион, ты только послушай. Субподряд! Лада, я серьёзно. Вы чудо. Мои архитекторы мне за год столько не наговорили, сколько вы за сорок минут. Я им показал запись — у них лица вытянулись.

— Какую запись? — Родион перестаёт резать.

— Мои ребята снимали. Для презентации. Лада там у каркаса, рассказывает про клеймо. Готовый ролик, честное слово. Я его совету директоров показал.

— Вы меня снимали? — спрашиваю.

— Немножко.

— Не спросив.

— Простите. Профессиональная деформация. Я всё снимаю, что хочу купить.

Тишина.

Зоя Тихоновна у плиты замирает с половником.

Родион кладёт нож. Аккуратно. Параллельно вилке.

— Матвей, — говорит он спокойно. — Лада не продаётся.

— Кто сказал «продаётся»? Я сказал «купить». Купить её время. Её мозги. Её глаза. — Матвей поворачивается ко мне. — Контракт вы прочитали?

— Пролистала.

— И?

— Хороший контракт.

— Хороший, — соглашается он. — Но я его переписал. После визита. Вчера ночью.

Он достаёт телефон. Листает. Кладёт на стол передо мной.

Документ. Шапка, реквизиты. «Генеральный директор Гордеев М. Л.» Ниже — «Директор ландшафтного парка и оранжереи Сомова В. А.».

— Какой оранжереи? — спрашиваю.

— Этой.

Родион не двигается. Смотрит на телефон. Белый как скатерть.

— Я подумал, — говорит Матвей легко. — Зачем ломать? Красивая вещь. Музейная. Встроим в посёлок. Клубный дом рядом поставим. Оранжерея — центр притяжения. Камелии,

лимоны, ваши древовидные пионы. Жители будут ходить. Кофе пить среди лимонов. Свадьбы устраивать.

— Это закрытый посёлок, — говорю.

— Закрытый.

— Значит, школьники не придут. И пенсионеры.

— Лада, — Матвей наклоняется ко мне. Мягко, доверительно. — Школьники и пенсионеры не платят восемь миллионов за реставрацию. Платят жители. Вы получаете свою оранжерею — живую, восстановленную, ухоженную. Пожизненно. С бюджетом. С командой. С вашим именем на табличке у входа.

Моё имя на табличке.

Я смотрю на экран. Буквы расплываются.

— А пионы у крыльца? — спрашиваю тихо.

— Какие пионы?

— У большого дома. Старые.

— А, эти. — Он машет рукой. — Дом под снос. Он аварийный, ремонт дороже стройки. Клубный дом поставим на его месте. Пионы… ну, пересадите в оранжерею, если хотите. Вы же специалист.

Родион встаёт.

Стул скрипит по полу. Резко, громко.

— Ты сносишь дом? — говорит он.

— Родион, ты же видел смету оценщика. Он аварийный. Перекрытия гнилые.

— Ты мне говорил — реконструкция.

— Говорил. Потом мои посчитали. Дешевле снести.

— Дешевле.

— Ну да.

Родион стоит над столом. Руки упёрты в столешницу. Костяшки белые.

— Значит, оранжерею — вписать, — говорит он медленно. — А дом — снести. А пионы — пересадить.

— Родион, это бизнес. Ты сам меня этому учил.

— Я тебя учил?

— Ты в шестнадцатом году в Химках снёс купеческую усадьбу. Я помню. Ты сказал: «Сантименты — это расходная статья».

Тишина такая, что слышно, как Зоя Тихоновна ставит половник на плиту.

Я смотрю на Родиона.

Он смотрит на Матвея.

Потом садится. Медленно. Берёт бокал. Пьёт до дна.

— Расходная статья, — повторяет он. — Да. Говорил.

— Ну вот.

— Уезжай, Матвей.

— Родион…

— Ответ отцу я дам завтра. Тебе — послезавтра. Уезжай. Пожалуйста.

Матвей смотрит на него. Потом на меня. Вздыхает. Встаёт.

— Торт не забудьте съесть, — говорит. — Медовик. Из

Москвы вёз.

Идёт к двери. Останавливается.

— Лада. Контракт у вас в почте. Подпишите до понедельника — оранжерея ваша, при любом раскладе. Даже если Родион скажет отцу «не хочу». Мать его продаст свою долю мне, суд разделит, оранжерея отойдёт на мою половину. Я уже посчитал. Мои юристы тоже. Вы останетесь с ней в любом случае. Со мной — с бюджетом. С ними — с войной.

Он уходит.

Хлопает дверь. Гудит мотор у ворот. Потом тише. Потом совсем тихо.

Зоя Тихоновна снимает фартук. Вешает на крючок.

— Пойду я, — говорит. И уходит тоже.

Мы вдвоём. На кухне флигеля. Над столом жёлтая лампа, вокруг неё кружит мотылёк. Розы Матвея лежат на подоконнике, я их так и не поставила в воду.

Родион смотрит в пустой бокал.

— Вы подпишете? — спрашивает.

Я открываю рот.

«Нет» — простое слово. Одна буква, вторая. Я знаю его. Я столько раз его говорила. Бывшему мужу. Нине Павловне. Конверту на скатерти.

Сейчас оно не выходит.

Моё имя на табличке у входа. Камелии. Бюджет. Пожизненно. Оранжерея, живая, при любом раскладе.

И пионы у крыльца — под снос.

— Я… — говорю.
Он поднимает глаза.
— Мне нужно подумать, — говорю я.
Он кивает. Медленно. Один раз.
Встаёт. Ставит бокал в раковину. Идёт к двери.
— Родион.
Он останавливается на пороге. Спиной ко мне.
— Это не значит «да», — говорю.
— Я знаю, — отвечает он. — Это значит «не нет».
И уходит в темноту. К оранжерее. Внутрь.

Глава 13. Слишком близко

POV: Родион

«Не нет».

Я сижу в оранжерее на полу, спиной к кирпичной стене. Рядом с зелёной дверью. Ночь. Под куполом горит одна переноска, жёлтая, на длинном проводе. Мотыльки бьются о стекло.

Три древовидных пиона в кадках. Двенадцать тысяч штука. Сто лет жизни.

Я их посадил. Своими руками. Слишком сильно утрамбовал землю.

Дверь скрипит.

— Я так и знала, — говорит Лада.

Она стоит на пороге. В куртке поверх пижамы, в резиновых сапогах на босу ногу. В руках два термоса.

— Вам надо спать, — говорю.

— Вам тоже.

— Я не сплю.

— Я заметила. Три недели. До трёх ночи шагаете.

Она проходит внутрь. Садится рядом на пол. Не близко. Между нами полметра холодной плитки.

Протягивает термос.

— Это ваш, — говорит. — Кофе. Две ложки сахара. Сыпала.

— А ваш?

— Мята.

Я беру термос. Отвинчиваю крышку. Пахнет кофе и почему-то ею. Мятой, землёй.

— Я не подпишу, — говорит она.

Я замираю с крышкой у рта.

— Гордееву?

— Гордееву. Я не подпишу до понедельника.

— А после понедельника?

— Не знаю. Честно. Не знаю, Родион. Я хочу эту оранжерею. Хочу, чтобы она жила. А он предлагает ей жизнь. С бюджетом. Вы предлагаете… — она останавливается. — Вы ничего не предлагаете.

— Да.

— Вы завтра даёте ответ отцу.

— Даю.

— Какой?

Я пью кофе. Горячий, сладкий. Обжигает язык.

— Не знаю, — говорю.

Она поворачивает голову. Смотрит на меня.

— Вы тоже не знаете.

— Тоже.

— Хорошая мы пара.

Она говорит это и краснеет. Я вижу даже в жёлтом свете переноски. Пятна по скулам, до ушей.

— Я про незнание, — уточняет.

— Я понял.

Молчим. Мотыльки стучат о лампу. Где-то в парке ухает сова.

— Её звали Алиса, — говорю я.

Тишина. Лада не двигается. Только пальцы на термосе сжимаются.

— Ей было семь, — говорю. — Почти восемь. В июле исполнилось бы.

Я не смотрю на Ладу. Смотрю на зелёную дверь.

— Мама поздно её родила. В сорок один. Все говорили — чудо. Ася была подростком, я заканчивал юрфак. А тут — Алиса. Рыжая. Как…

Я останавливаюсь.

— Как я, — тихо говорит Лада.

— Светлее. Морковная. Мама заплетала ей две косички. Голубые ленты, под цвет платья.

— Я знаю.

— Она жила в той комнате. В угловой. Два окна. Мама говорила — ей нужен свет. Она рисовала. Всё время. Пионы. Только пионы. Мама их любила — те, у крыльца. Мама сама сажала, когда купили усадьбу. И Алиса ри

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.